

МЕТЕОР

1.

Ведь вот бывают же такие метеоры!.. Какой я ни скептик, а вот пришлось пережить явление такого метеора, но это — только раз, это — единственный и замечательный для меня случай, о котором невозможно забыть.

Это было однажды зимой в Москве.

Давала концерт одна пианистка, француженка Елена Дориак.

Я уже давно не слышал такой прекрасной игры и — посетил оба ее концерта.

Это была недурная собою, довольно молодая женщина, одетая в черный бархат и державшаяся скромно, но холодно.

Ржаного цвета кудри не придавали ее лицу тепла и женственности. Скорее, ощущалась какая-то надорванность и такая холодность, которая бывает не от природы, а от пережитого.

Довольно свежий цвет лица, пожалуй, только охлаждал, а не согревал общее выражение, а несколько приподнятая голова и позиция глаз, как бы смотревших свысока, мгновениями делали эту женщину почти надменной.

Надменности, однако, строго говоря, не было. Была холодноватость и, если угодно, скрытость, поскольку, по крайней мере, можно было рассмотреть в течение одного концерта. Да может быть, это и не скрытость, а так что-то... Улыбки не было — вот что. Имея шумный успех и выходя десятки раз на усиленные аплодисменты, она — ни разу не улыбнулась... Вот и все! Но это, конечно, очень много.

Прослушав первое отделение на втором вечере, я не мог сдержаться и решил пойти к ней во время антракта за кулисы.

Она ловко играла ряд номеров от Баха и Скарлатти, но когда я прослушал "*Senate caratteristi*"¹ Бетховена, я решил с ней заговорить...

Старая привычка старого музыкального энтузиаста!.. Ничего не поделаешь: так уж я скроен. Нахальство это или отсутствие предрассудков, любовь к музыкальным приключениям или философская жажда знания и ощущения, — не знаю, что тут такое. И не хочу знать!

Как только начался антракт, я шмыгнул за кулисы и осведомился, где концертантка.

Меня там многие знали, так что, если кто и удивился, то уж не очень так.

Я увидел Елену Дориак почему-то в одиночестве. Она быстро ходила в углу большой комнаты от одной стены к другой, вытирая носовым платком легкий пот со лба, выступивший от продолжительной и напряженной игры.

Я подошел.

Заметивши меня, она не остановилась, а стала только ходить тише, как бы ожидая моего обращения.

— Я извиняюсь... — заговорил я по-французски.

Она остановилась и вперила в меня свои глаза. Впервые только тут я рассмотрел эти глаза. Голубые! Представьте себе: стройная, холодная француженка с стриженными вьющимися золотистыми волосами и с светло-голубыми, наивными глазами!

— Я извиняюсь... — продолжал я. — Я... я...

Она улыбнулась. В первый раз за оба вечера она мило улыбнулась, снисходительно — однако, не гордо, так, как улыбается мать, наблюдая у ребенка первые проявления взрослости.

— Вы хотите со мною говорить? — сказала она низким мелодическим голосом.

— Вы так чудно сейчас сыграли *le retour*²...

— И вы мне хотите что-то сказать?

— Я... я очень много хотел бы вам сказать.

— Но вам придется поспешить. Через десять-пятнадцать минут я должна продолжать...

— Сударыня... Здесь неудобно... и нет времени... Может быть, вы разрешите увидеть вас где-нибудь в другом месте?

Елена рассмеялась.

Просто так-таки и рассмеялась. Вероятно, вид у меня был в это время достаточно глупый. А может быть, и не ожидала такого нахальства.

— Да кто вы такой? — спросила она сквозь искренний и довольно громкий смех.

Я отрекомендовался, назвал свою профессию и вынул и подал ей свою визитную карточку.

Она — опять так же снисходительно, но тоже совсем не гордо и не надменно — протянула мне руку, которую я тут же почтительно и учтиво поцеловал, и сказала:

— Ну, что же. Будем знакомы... А увидеть меня — где же, кроме гостиницы? У меня в Москве нет никого, где бы можно... Но ведь знаете? Я уезжаю! Послезавтра я уезжаю!

— О, это мне нисколько не мешает! Если разрешите, я вас навешу завтра вечером — на какие-нибудь полчаса, — ну, на час, если состоится разговор... А послезавтра вы... вы уедете... как предполагали...

— Идет! — сказала она, опять протянувши руку, но уж не снисходительно, а скорее как-то дружески, — я бы сказал, товарищески, как будто бы нужно было "ударить по рукам" после выгодной сделки.

Я вновь приложился к этой сильной руке с длинными, развитыми пальцами и, бормоча приветствия, раскланялся, чтобы сейчас же и быстро удалиться.

— А разговор будет интересный? — оживленно спросила она, когда я уже повернулся к выходу.

¹ "Характерная соната" (*итал.*).

² возвращение, возврат (*фр.*).

Я в замешательстве остановился, не зная, что ответить.

— Ну, ладно! Идите, идите! — с прежней улыбкой отправила она меня, и я ушел в зрительный зал.

Севши в свое кресло вместо прогулки по фойе, я погрузился в глубокую задумчивость.

На душе клокотал сдержанный восторг — отчего? Неизвестно, отчего! И я совсем не мог гулять.

Я углубился в музыку, затанцевавшую в груди, и ничего толком не мог сообразить.

Мелькало два обстоятельства.

Первое: Елена умеет улыбаться! Как это непохоже на ее манеру держаться во время эстрадного исполнения! И что за милая улыбка на этом всегда холодном лице? Чему верить — мгновенной улыбке или постоянному лицу?

Второе: я не знал, на какую тему и что я, собственно, должен с ней говорить!

Может быть, это покажется странным. Но право же, я должен заверить: ни в ту минуту, когда я решил идти к ней за кулисы, ни в тот момент, когда я к ней подошел, ни во время своего размышления уже в кресле — я совершенно не знал, что и как и о чем мне с ней говорить, с ней, абсолютно неизвестным мне человеком, да еще француженкой, которую я никогда раньше не видел и больше не увижу, так как послезавтра она уже будет в поезде, который отвезет ее во Францию.

Было ясно, однако, одно: я *должен* с ней говорить, я *должен быть* около нее и о чем-то с ней говорить.

И это было не ясно, а это настойчиво колотило в мозг и в сердце и, не спрашиваясь никакой логики, само двигало ногами, чтобы я пошел за кулисы и обратился к ней...

Во втором отделении она играла Скрябина и Листа. Между прочим, тут я впервые заметил внутренне-мистическое родство скрябинской “Сатанинской поэмы” *C-dur*¹ op. 36 и “Мефистовальса” Листа. Впрочем, родство это и не только внутреннее. И там, и здесь — достаточно и чисто внешних общих черт, как, например, нонаккорды с пониженной квинтой, гармонический мажор и пр. Что же касается внутреннего родства, то эта роскошная пианистка показала мне его воочию.

У нас привыкли подбранивать Листа. Считается несолидным обременять программу концерта этим композитором. Но я, соглашаясь со всеми возражениями (об однообразии, о позе, о внешней выразительности и декоративности и пр.), должен высказаться все-таки и в пользу этого замечательного человека. Сущность Листа — не в позе, не в кривлянье и манерности, но — в артистизме, в стихии, оргии артистизма, в упоении артистизмом. Конечно, артист — всегда поза. Ведь он же — на сцене! Но поза артиста, взятая чисто эстетически, не есть уже просто поза. В таком случае и все искусство есть поза. Но есть вдохновенная поза, упоение артистизмом, такая игра, где играют не с вешами, а с самой игрой. И вот тут-то начинается Лист. Поза и театральность плохи тогда, когда за ними кроется какое-нибудь внутреннее очень бедное и ничтожное содержание. В этом случае образуется противоречие между богатой формой и ничтожным содержанием. Но артистизм не только не содержит такого противоречия, но он есть еще игра и самой этой игры, игра, где уже нет ничего внутреннего и внешнего, а есть только одна игра. Когда выражение больше выражаемого, получается дисгармония. Но в чистом артистизме и не ставится этого вопроса. Тут — только одна сфера выражения, и больше ничего. И только ставится вопрос: до какой степени самозабвения и упоения дошла игра с этим выражением. Артистизм — игра с игрою, игра с чистой выразительностью, а что именно тут выражено, для чистого артистизма и не важно.

Такая эстетическая позиция очень выгодна для выражения всяких неравновесных категорий, вроде иронии, сарказма, издевательства, цинизма, злорадства. Такому артистизму хорошо удается хохот, рыдание, напряженное сладострастие, намеренная театральность и всяческий патетизм. Здесь часто кроется эффектный демонизм, властный и остро-пронизывающий сатанизм, глубокая и смелая, уверенно-знающая магия. И все это здесь — только игра, только феерический театр, только артистизм, только шутка весельного гения, улыбка и шалость какого-то игривого, иронически-саркастического абсолюта, в одно мгновение шутливо создавшего и разрушившего новую вселенную. И все тут подсмеивается, улыбается в бороду, хихикает, издевается; все тут шалит, кокетничает, ухмыляется и дурачится; все тут — карикатура, пародия, сарказм и кривляние; тут настолько комическое и трагическое проникли одно в другое и внутренне объединились, отождествились, что уже не знаешь, где хохот и где рыдание, не знаешь, где серьезность и шутка, где фантазия и действительность, где возвышенное и низменное, где добродетель и порок. И все это клубится, налетает, свищет и воеет, накатывает; все это дразнится, гримасничает, паясничает; везде тут причудливые фокусы, изысканные шарады и головоломные загадки; и это — в атмосфере страсти, даже сладострастия, в атмосфере эффектного эротизма, цинического и трагического одновременно, в атмосфере виртуозного самопротивоборства, оргийного трагизма, нестерпимых космогонических конвульсий.

Соната Листа *h-moll*² может считаться настоящим гениальным произведением. Она, конечно, всецело листовская, то есть, прежде всего, декоративная. Но тут такая напряженная фигурность и такая резко очерченная ритмика, такая раскоряченность, растопыренность, остро-угловатая, корявая и колючая неуклюжесть, что, кажется, кто-то намеренно выстраивает перед вами нелепые и ужасающие гримасы. Всё тут грузно, нарочито сумбурно, властно-капризно. Всё тут нелепо, вызывающе и нервно торчит во все стороны и не просто торчит, но угрожающе чем-то размахивает тяжелым или острым: того и смотри, уложит вас на месте. В этой сонате как бы нет последовательной логической линии, не хочет она этого. Тут всё каждую минуту только еще начинается. И начинается, начинается без конца; всё новые и новые начала возникают; и неизвестно, где же и когда же будет продолжение, где и когда ответ на эти злые и раздраженные вопросы. Обычно думают, что противоречивое не может объединиться и слиться. Но жизнь и музыка учат другому. Нельзя как будто бы совместить глубину и рационализм, а Бах это совместил. Нельзя как будто бы совместить глубину и сухую холодность, а Брамс и Танеев это совместили. Нельзя, скажут, совместить глубину и пустоту, а Прокофьев как раз и есть это совмещение. Пожалуй, станут отрицать и возможность слития маршеобразной

¹ до мажор.

² си минор.

бодрости и жизнерадостности с анархической расхлябанностью и развязно-безвольной развинченностью. А современная фокстротная форма как раз великолепно это синтезировала. Так и Лист. Этот гениальный чудак совмещает везде и, прежде всего, в сонате *h-moll*, тяжелую грузность и — неимоверно-легкую, почти легкомысленную подвижность; он совмещает бастардную, нарочито-нелепую громоздкость и — сублинное, даже интимное, изящество; циклопизм и — кокетство, монументальность и — бесшабашную растрепанность, гимнообразную торжественность и — отчаянные, карикатурно-переигранные взвизгивания. И всё это резко, болезненно-остро, размашисто-штрихообразно — как короткие пробеги электрической волны. Начало и конец сонаты — уходящие в таинственную глубину мрачно-угрожающие басы, которые имеют полную власть и силу поразить вас насмерть в одно мгновение только чьим-то одним взглядом, но которые не делают этого только из-за презрения к вам и уходят с той же мрачной торжественностью, с какой и пришли. Это создает очень эффектное обрамление для всей пьесы, как бы еще лишний раз подчеркивая сущую театральность и мрачный, трагический эстетизм всего мирового и человеческого бытия.

Да даже в “Мефистовальсе” — смотрите, как в роскошном вступлении из мрачной басовой глубины и пучины вылезает нелепое, дикое, угловатое чудовище, неуклюжее и огромное, которое лопочет какую-то исковерканную невнятность, ежемгновенно запинаясь языком и ногами, смешно и болезненно хромает, гримасничает, подмигивает или прямо издевательски высовывает язык, приплясывая тяжело, грузно, круто и как-то даже нудно. Вот оно все переливается, пересыпается, переваливается, и — вальсирует, упоенно-цинично вальсирует. Да это разве люди танцуют? Когда в отношении такой музыки обычно говорят, что это — вальс обнаженных скелетов с обнаженными зубами и длинными-предлинными руками и ногами, то, как ни трафаретен этот образ, но он совершенно реален для этой музыки, и потому это уже не поэзия, а самая подлинная мифология. Эти скелеты взаправду стучат друг о друга костями и закидывают ноги выше головы. Это — вальс издевательского хохота, язвительных или злорадных разоблачений, вальс артистически-исступленного, рыдающего сарказма.

Нет, что хотите, но с Листом я не могу расстаться. В известной дозе, в определенной гармонии с прочими композиторами он всегда будет достойным украшением всякой фортепианной программы.

Эти мысли копошились у меня в голове, когда я слушал игру Елены Дориак.

2.

На другой день, часов около семи вечера, я направился в “Метрополь”, где остановилась Елена Дориак, и осторожно постучал в ее номер.

Номер состоял из двух комнат, в первой из которых был письменный стол около одного окна, круглый обеденный стол ближе к выходу, с диваном, креслами и стульями, и, наконец, рояль, на котором были даже целые кипы нот. Вероятно, это был один из тех номеров, которые как раз и сдавались приезжим концертантам.

Елена сидела за письменным столом и писала. И когда я вошел на ее отклик, она не сразу встала, так что я одно мгновение помялся на пороге.

— Входите, входите, раздевайтесь! — вдруг быстро и непринужденно крикнула она, вскочивши из-за стола. — Простите, я тут хотела кончить...

— Я вам помешал?

— О, нет! Входите, входите! Вон там за загородкой вешалка. Вы прошли?

Я быстро разделся и стал приветствовать милую хозяйку.

— А у вас тут... семейно... — ляпнул я и — запнулся.

— Это рояль-то?

— Да. И рояль, и всё...

— Но позвольте, что же всё-то? — не без шалости в голосе спросила Елена. — Рояль, действительно, редкость, чтобы в самом номере... Большею частью, в общей зале... А ведь остальное-то что же?..

Я продолжал вести себя и чувствовать забитым дураком, каким-то чучелом гороховым, и — ничего не отвечал, бессмысленно улыбаясь.

Но что было удивительнее всего, так это то, что Елену, по-видимому, этонисколько не раздражало, и она могла очень мило и обходительно болтать и улыбаться на мою внешнюю неповоротливость.

Я думал только одно: куда же девается эта холодная и строгая Елена Дориак? Ведь это же совсем другой человек!

— Вы замечательно исполняете Листа, — заговорил я, наконец. — Я слышал сотни первоклассных исполнителей и исполнительниц, да и сам Лист — такая заезженная история... И — знаете? — у вас совершенно новое исполнение...

— А скажите, почему всем так нравится Лист и почему исполнять его легче, внутренне-легко, при больших технических трудностях? — спросила Елена.

— Это очень легко объяснить, сударыня! Лист, это соединение простейших тем с блеском и убранством отделки и фактуры. Это в особенности ярко в рапсодиях. Смотрите, это запоминается и насвистывается сразу всяким, у кого слух, наподобие какой-нибудь частушки. — При этом я подошел к роялю и, стоя на ногах, проиграл несколько тактов из Двенадцатой рапсодии — был чудный Стейнвей, который я сразу узнал по звуку. — А между тем смотрите, как это разработано здесь... и вот здесь... — при этих словах я сел за рояль и проиграл еще несколько тактов. Потом пересел на диван и продолжал:

— И так — везде. Простейшая — местами, если хотите, даже пошловатая мелодия и вместе с тем — сложнейшая и богатейшая разработка. Обычно почему не слышат разработку? Да потому, что не усваивают и не понимают основной темы, по ее ли сложности и глубине или еще по чему-нибудь. Или иной раз усваивается тема, но разработка слишком замысловатая и без показного блеска. А тут темы все — простейшие, а украшения созданы только для чистого любования; и как они технически ни замысловаты, но, будучи нанизаны на простейшую мелодию, они сами

оказываются в основе простейшими и замечательно легко усвояемыми.

— Да, это так, — сказала она. — Это, конечно, так...

— Но дело-то не в этом, — продолжал я. — Дело не в Листе, который всем известен, и вам и мне, и без которого не проходит почти ни одного фортепианного вечера. А дело в том, как вы его исполняете. Вы, несомненно, внесли новшество в историю исполнения Листа. У вас он выходит каким-то... нежным, что ли, женственным, что ли... Это — Лист-то, титанический, демонический, сатанический Лист! Впрочем, этих своих черт он нисколько не лишается в вашем исполнении... Но они все куда-то переключены... В какую-то мягкую и нежную стихию женственности...

— Ну, должна я сказать вам, что это мне совсем непонятно. Кроме того, и женственности, и самих женщин я терпеть не могу! — сказала она весело, но остро и решительно.

“Эге! — подумал я — Это интересно!”

— Я, может быть, не так выразился, — продолжал я вслух. — Тут очень трудно подобрать слова... Я могу сказать только одно: это — чудно, это очаровательно!

И я подошел к ее креслу я стал целовать ее руку. Несколько раз с чувством поцеловал я эту — действительно, замечательную, — руку.

— Сядьте, — сказала она, отрывая руку после нескольких поцелуев, как будто бы вдруг чего-то испугавшись.

Я сел.

— Скажите мне, что такое одиночество? — спросила она со вздохом, глубоко сидя в мягком кресле, напомнивши мне сразу вдруг одну расслабленную женщину, которую я случайно видел в лазарете.

“Эге, матушка моя! — скользнуло у меня в голове. — Да тут что-то кроется...”

— Одиночество? — спросил я, не подавая виду, что разговор сразу стал интимным.

— Да, одиночество.

— Странный вопрос. А вы что имеете в виду?

— То есть как — “что”? Разве мой вопрос непонятен?

— Его можно по-разному понимать...

— Да как ни понимайте, все равно вопрос стоит один и тот же: что значит быть одиноким, быть наедине с собою?

— Но вот уже и разница! Быть одиноким и быть наедине с собою, это — совершенно разные вещи.

— Ладно! Я тогда спрашиваю: что значит быть одиноким, — не наедине с самим собою, а именно одиноким?

— Быть одиноким значит жить без людей...

— А вот и неправильно!

— То есть как же это?

— А так: жить без людей не значит быть одиноким!..

— Но тогда я вас не понимаю, — пожал я плечами.

— Можно жить без людей и совершенно не быть одиноким! Можно читать, писать, играть... Это же не есть одиночество!

— Хорошо. Тогда я скажу так: одиночество это жизнь без вещей.

— Что? — удивленно вскинула на меня Елена свои глубокие голубые глаза.

— Я говорю, одинок тот, кто живет без вещей. Вы думаете, что в людях все и дело? Нет, вы ошибаетесь. Вы жесточайше ошибаетесь! Вещи, это нечто гораздо более живое и личное, более важное и ценное, чем люди, — часто, по крайней мере. Расстаться с вещами, с любимыми вещами, — о, как это бывает мучительно, страшно, как это бывает непосильно, и как это часто ведет человека в пропасть и физически, и духовно! Вещи, наши любимые вещи, да и вообще всякие вещи — это ведь не что-нибудь мертвое и механическое, как говорит большинство. Ни большинству, ни меньшинству не верьте. Верьте только себе! А другим поверь, так и живой человек окажется мертвым и механическим. Это — вздор, это — ложь!

Я начинал горячиться и даже встал с дивана. Елена внимательно рассматривала меня.

— Вещи — тоже личности. А в особенности те, с которыми человек живет много лет, живет давно, живет, может быть, целую жизнь. Да и пусть не живет много лет! Вы читали нашего Гоголя? “Шинель” Гоголя читали? У вас есть переводы... Вы думаете — как? Вы думаете, Акакий Акакиевич Башмачкин, у которого отняли шубу, не реальность? Вы думаете — фантазия? Да я вот не гоголевский чиновник, но когда у меня пропали мои гимназические тетрадки с сочинениями и задачами, я получил нервное расстройство и несравненно гораздо больше, чем после смерти родного брата, который, правда, умер вдали от меня и был совсем иного мировоззрения... Так вот, дорогая моя, расстаться с любимыми вещами, раздать и уничтожить любимые вещи, — вот первый и настоящий шаг к одиночеству!

— Вы говорите так, как будто бы вы это сделали сами, — с серьезностью сказала Елена.

— А почему бы мне и не сделать? — запальчиво спросил я, садясь обратно на диван.

— Да я ничего и не говорю в этом смысле. Я только говорю, что у вас такой вид, как будто бы вы это реально сделали.

— Об этом или совсем не стоит говорить, или надо говорить отдельно.

— Хорошо. Об этом надо, конечно, говорить отдельно. Но я-то сейчас хочу сказать другое. Я хочу сказать, что вы ошибаетесь.

— В определении одиночества?

— Да, в определении одиночества.

— Именно?

— Именно в том, что одиночество вовсе не есть расставание с вещами.

— Тогда ваша обязанность дать свое определение.

— Ах, не расставание с вещами! Нет, не расставание с вещами! — опять со вздохом сказала она, тоскливо ударивши по ручкам своего кресла.

— Но что же, что же тогда? — начинал любопытствовать и я.

— Одиночество, это — быть все время на людях. Да, да! Вот где подлинное уединение и глубочайшая пустыня — это быть все время среди людей, среди разговоров, не только скучных и пошлых, но пусть даже важных и глубоких, быть на виду, не иметь возможности уединиться, сосредоточиться, подумать о себе, все время говорить и слушать других, держать себя в рамках общественных нравов и привычек, быть вежливым, культурным, просто приличным человеком, соблюдать все эти неизбежные, необходимые нормы общежития, — ну, словом, быть все время на людях и не быть в состоянии уединиться! Вот, мсье, где, по-моему, одиночество, или там уединение, и вот где пустыня и монастырь, а не в том, что обычно зовется уединением!

Она тоже горячилась, но не вставала с кресла и только оживленно жестикулировала.

Я не утерпел, снова подошел к Елене и снова несколько раз поцеловал ее руку.

— Милая Елена, — сказал я мягко и почтительно. — Вы замечательно сказали. Но тогда, может быть, вы разрешите мне сказать вам, что такое общение с миром? Вы определили уход из мира. А, может быть, вам угодно будет знать, что такое общение с миром?

— Говорите, говорите! Я вас слушаю с любопытством! — и она впилась в меня своими бездонными голубыми глазами.

— Общение с миром и людьми не есть жизнь и работа среди людей, — начал я. — Чем больше мы обращаемся среди людей, тем меньше общение с ними происходит. Чем больше тратится времени и сил на разговоры и вообще слова, на работу, службу, на исполнение общественных обязанностей, тем мельче и бездарнее становится общение с людьми, тем больше обесценивается это общение, и человек все больше и больше внутренне опустошается. Нужно иметь слишком грубое и бездарное сознание, чтобы общение с людьми измерять количеством встреч, визитов и разговоров. Чтобы общаться с людьми, не нужны миллионы встреч, тысяча дел и миллиарды слов.

Я могу иметь только несколько человек, которые для меня в каком-нибудь отношении ценны или дороги, и — общение с ними даст более глубокую связь с миром и людьми, чем общение с тысячью человек, с которыми я взаимно чужд...

— Ах, это старая апология дружбы!.. — с тоской и намеренной скукой в голосе перебила меня Елена.

— О, нет, моя дорогая! Что хотите, но только не это! Нет, не апология дружбы. Я хочу сказать совсем другое. Я только сказал, что общение с двумя-тремя ценными человеками есть более глубокое общение с миром, чем с миллионом людей безразличных. Этого, надеюсь, вы не станете отрицать. Но настоящее и подлинное общение с миром и людьми — вот тут-то и начинается мой тезис, — настоящее общение с миром и людьми есть полный уход от людей и, главное, неимение никаких привязанностей. Когда я сижу в своей одинокой комнате и читаю творения великих людей — в науке, в литературе, в философии, в религии, — когда все уснет и замолкнет суетливое дневное “общение” и засветится моя одинокая лампа, освещающая читаемые мною книги, — вот когда я начинаю общаться с миром и людьми, вот когда начинаю понимать тайные источники их жизни, борьбы, подвига или их злобы, торжества и бессилия, вот когда обнажается самое сердце мира и устанавливается подлинное общение с жизнью людей. Ну, конечно, присоедините сюда и музыку. Если есть рояль и шкаф с нотами — кончено! Вы уже не пропали; уже есть из-за чего жить и мыслить; уже обнажаются перед вами подлинные тайны человеческой жизни; уже обеспечено ваше общение со всем подлинным, первоисточным, сокровенным, со всем тайным, глубоким и первообразным, что есть в человеке. Общение с миром может быть только у монаха, отрекшегося от мира. Понимать людей, любить людей, подлинно действовать среди них может только лишь отшельник, ибо только он — вне суеты и мелочности вульгарных общений, и только он создает ценности. Правда, не обязательно быть отшельником в буквальном смысле слова и жить в пустыне (хотя и это не худо). Но все равно: что бы вы ни захотели создать ценного, вы должны хотя бы временно, хотя бы условно удалиться от мира и покинуть внешнее общение, которым живет обывательская жизнь. Вот вы собрали вчера около полутора тысяч человек на свой концерт и создали такое “общение”, в том числе и внешнее. Но что для этого нужно было? Для этого нужно было целую жизнь посвятить музыке, играть по десять часов в день гаммы и потом опять-таки целые дни проводить в одиночестве за фортепиано, чтобы быть в состоянии давать такие концерты. Вон сейчас наши политики кричат и суетятся на заседаниях, в учреждениях, на митингах и пр. Но что для этого нужно было? Для этого нужно было, чтобы сотни и тысячи людей, великих и малых, предварительно вынашивали эти идеи в глубине своих душ в длинные, бессонные, одинокие ночи, нужно, чтобы тысячи умов и сердец прокладывали путь для этих идей в непроходимом лесу чуждого им мировоззрения, и это, может быть, в течение двухсот или трехсот лет! Вон смотрите: гремят поезда, рокочут аэропланы, ослепительно блещет электричество, побеждается пространство, вода, воздух, земля и само подземелье. И что же вы думаете? Вы думаете, что только и есть крик, шум, стук, свет и внешняя техника и экономика жизни? Нет, сударыня, для этого нужны были бесчисленные отшельники, аскеты, миллионы всяких чудачков, забывавших людей, семью, всех родных и близких, забывавших вовремя поесть или поспать, — для того только, чтобы вывести новую математическую формулу или придумать какую-нибудь незначительную деталь в механизме. И этих чудачков притесняли и гнали, над ними смеялись, их считали фантазерами и дармоедами, слишком неземными теоретиками; их всегда свысока и снисходительно поучали: ближе к жизни, господа, поближе к жизни, к людям! И это какой-нибудь сытый мещанин говорил голодному и безработному математику, который на холодном чердаке у сварливой хозяйки, не поевши и не поспавши, интегрировал свои уравнения, на основании которых через пятьдесят лет стали строить мосты в несколько километров длиной и заливать электричеством этого же самого сытого и самодовольного мещанина. Кто больше сделал для жизни, — этот самый мещанин, который был сплошь на людях и не знал, чем ему заняться в одиночестве, или этот голодный и полусумасшедший математик на чердаке у идиотки-хозяйки? Кто ближе к жизни — этот вот оратор-крикун на трибуне или тот “чудак” и “дармоед”, которому сто лет назад открылась эта новая идея, дошедшая теперь до трибуны и улицы, и который впервые вынашивал и обдумывал ее, погруженный в ее величие и тем оторванный от всяких внешних общений? Я вскочил с дивана и стал ходить по комнате, продолжая: — Подлинное общение с миром, это —

только у отшельника. Только уединение и аскетизм движет культурой и прогрессом. Только самоуглубление, самососредоточение, отказ от всех житейских мелочей, от всяких привязанностей,— да, да, в особенности, отказ от всяких привязанностей, имейте это в виду! — только это самоограничение, уединение и монастырь в буквальном или в переносном смысле, только это и есть общение с миром и людьми. Все прочее обесценивает и просто сокращает, уничтожает всякое общение, делает его пошлым, нудным и скучным, никому не нужным, неценным, пустым и ничемным. Здесь опустошение духа, а не общение с миром, которое только ведь и имеет один смысл — обогащать и сохранять дух, поднимать и наполнять человека духовными ценностями!

Кончивши свою речь, я еще несколько раз прошелся по комнате и потом сел.

Елена молчала, но, посмотревши на нее, я сразу заметил у нее некоторое изменение в лице: щеки ее чуть-чуть порозовели, и глаза мгновениями издавали странный, неожиданно-интимный блеск.

Помолчавши некоторое время, я, наконец, решился спросить:

— Но что же вы молчите? Вам это не нравится?

Елена заговорила совсем интимным голосом, каким-то шепотом, и ласковым, и умоляющим, который обещал мне весьма увлекательную психологическую перспективу:

— Мсье Вершинин... Сядьте рядом со мною... Возьмите стул... Мсье Вершинин...

Я быстро вскочил, взял стул и сел совсем, совсем рядом с Еленой, так что мой стул тесно соприкоснулся с ее креслом.

— Мсье Вершинин... Я должна вам рассказать... Вы, не зная того, задели больные струны. Вы знаете? Я когда-то начала с монастыря... Я была послушницей...

Я порывисто схватил почему-то ее правую руку, как бы для поцелуя, но (почему-то) не стал целовать, а только жал в своей руке и жал очень долго, впиваясь в это голубое море ее глаз.

— Вы... вы были в монастыре? — прошептал я, чувствуя некоторое остоленение.

— Да... Да, я была в монастыре... — сказала она и — потупила голову.

Я продолжал держать ее руку в своей, хотя уже и перестал жать. Потом вдруг, не выпуская ее руки, я прижал обе свои руки к груди своей и умоляюще прошептал:

— Милая Елена, расскажите! Расскажите, милая! Мне можно рассказать.

— Да, совсем неожиданно! Представьте: хочется мне вам рассказать... Никому, никому никогда не рассказывала. Но вам...

— Я вас слушаю, милая Елена! — сказал я, все еще не выпуская ее руку из своей.

3.

— Ах, сколько было пережито, и как все можно кратко рассказать!

Я была дочь известного адвоката в Париже. Дом был богатый. Вечера, балы, домашние концерты, всякого рода приемы и выезды были у нас самым обыкновенным явлением... Я шутя играла, не помню даже, с какого возраста. Даже не помню себя не играющей. Так же шутя, почти девочкой, я кончила Парижскую консерваторию. Тут бы, казалось бы, и вступить в свет: все дороги были открыты, и я ко всему этому была так подготовлена... Но судьба моя была иная.

Тошно, тошно, мсье Вершинин, было мне в отцовском доме! Я задыхалась от этой пустоты, от этой вечной толпы праздных людей, от этих нарядов и обедов, на которые уходило больше половины всей жизни. Душа моя была — как гуляющая женщина, над которой всякий имеет право издеваться и которую любой проходимец может использовать для своего наслаждения. Пришел час, когда я больше уже не могла терпеть. И вот, восемнадцатилетней невинной девушкой, уже имея консерваторский диплом, несколько шкафов дорогих и модных туалетов, имея десятки и сотни мужчин, которые готовы были по одному моему кивку предложить мне все что угодно, от крайнего разврата до самого честного и порядочного брака, — имея все это, я бежала однажды ночью из родительского дома, в самый разгар одного из наших грандиозных маскарадов с танцами, бежала в один монастырь, в восьмидесяти километрах от Парижа, оставивши краткое объяснительное письмо отцу, которое он должен был получить на следующий день.

Да, тяжело, мсье Вершинин, признаться мне, что я совсем не знала, что такое монастырь, и бросилась в него с отчаяния. И это незнание жестоко мне отомстило.

К утру я прибыла туда и заявила к игуменье с просьбой взять меня в число сестер. Игуменья сразу же отнеслась ко мне — не скажу враждебно, а как-то напряженно-скептически. Она подробно осведомилась о моем происхождении, о моей жизни, о моем музыкальном образовании, долго ничего не отвечая, а только расспрашивая. Наконец, последовал и ответ, твердый и — абсолютно отрицательный.

“Вам, милая, здесь не место... Поверьте мне, я опытнее вас... Вам здесь не место...” — серьезно и не очень интимно говорила она, мотая седой головой.

“Но куда же мне деться? Матушка, куда же мне деться?” — со слезами на глазах стала взывать я.

“Вернитесь назад и начните вести честную и трудовую жизнь”.

“Но ведь это же невозможно в родительском доме”, — сказала я.

“Тогда уйдите из родительского дома”.

“Но ведь от этого только скандал получится... Начнутся свидания, слезы, истерики, мольбы... Да и куда же я денусь? Меня так страшит жизнь... Я такая неопытная...”

“Но у вас есть большое музыкальное образование. Вы свободно можете жить уроками”.

“Матушка! Я от музыки-то и хочу избавиться. Ведь музыка, это — суета, человеческая слава, бесплодное прохождение времени в игре... Я хочу быть одна, с самой собой, хочу молиться, а не играть...”

“Играть, милая, не грех. Христианство приемлет мир...”

Вы знаете, мсье Вершинин? Я никогда не встречала такого безжалостного и черствого к себе отношения, как от этой игуменьи. С самого первого взгляда ее я уже поняла, что между нами лежит совершенно непреодолимая пропасть, неприступная каменная стена... Всё, всё, решительно всё до последнего жеста, до последнего слова, всё до последней черты лица говорило мне у ней, что это вот “мы”, а это вот “вы”... И — ни с места, совершенно ни с места!

Я, разбитая и уничтоженная, вышла, шатаясь, из игуменского корпуса за ограду монастыря и села, не зная, что делать и куда деться, на большую скамью, стоявшую у монастырских ворот.

Действительно, что было мне тогда делать, и куда должна я была деться? Вернуться назад? Ни за что! Нет, лучше смерть, чем опять в это пекло, в эту суету, в эту давящую суету и скуку родительского дома. Нет и нет! Лучше в публичный дом, лучше бродить по притонам, но только не в родительский дом!

Ни за что, ни за что!

Так я сидела и размышляла, и проходившие с удивлением и любопытством оглядывали меня, городскую жительницу, да еще из бомонда, зачем-то сидевшую здесь, у ворот отдаленного монастыря.

Наконец, я начала плакать... Плакать и молиться: Господи, наставь и научи, что делать! Не могу к родителям! Ни за что к родителям! Лучше смерть и публичный дом, но только не в родительский дом!

Да! Плакала я, вероятно, немало. Кто-то, проходя мимо, останавливался и пробовал меня расспрашивать и утешать. Но мне не хотелось рассказывать свои интимные дела, и люди уходили, не будучи в состоянии дать мне совет, даже если бы им и хотелось этого.

Было уже после обеда, а я все сидела у монастырских ворот и плакала. Потом я стала чувствовать голод.

В кармане у меня было немного денег, и я направилась в соседнюю деревеньку, чтобы купить хлеба и молока и отдохнуть.

Один крестьянский дом приветливо принял меня и накормил за небольшие деньги. И я даже осталась там ночевать, сочинивши какую-то сказку о себе для хозяев дома и совершенно не зная, что будет дальше.

Проснувшись рано утром, я опять и опять с огромной силой почувствовала, что мне или монастырь, или... полная неизвестность, которая могла быть потрясающе опасной и страшной.

И я опять — правда, неуверенно, поплелась к монастырю.

Я и сама не знала, идти ли опять к игуменье или нет, но только ноги сами шли к монастырским воротам, и я безотчетно им повиновалась как какому-то автоматическому механизму.

Я подошла к монастырским воротам, но... Те же самые ноги, которые принесли меня сюда, тут, около ворот, вдруг застыли и не двинулись дальше.

Я чувствовала, что не могу идти к игуменье... Не нравилась она мне, и я ей была чужая. Но в монастырь хотелось. И, как я теперь понимаю, не столько в монастырь, сколько куда-нибудь вообще из родительского дома.

Села я опять на ту же скамью и в задумчивости сидела, вероятно, несколько часов. По крайней мере, на башне уже пробило двенадцать.

После двенадцати слезы опять стали душить мне горло и сердце, и опять проходившие мимо безуспешно расспрашивали меня и пытались утешить.

Наконец, уже стало темнеть, как вдруг ко мне подошла одна послушница и сказала, что матушка приглашает меня к себе.

Я радостно вскочила с места и пошла вслед за послушницей.

“Вы там вторые сутки плачете...” — сурово сказала игуменья.

Я ничего не отвечала, а только подумала: “Но зачем же такая суровость и строгость? Почему она мне не мать, почему она не хочет заменить мне монастырем мой родительский дом?”

“Нечего плакать!.. — без улыбки продолжала игуменья в том же тоне. — Я вам говорю, что вам не место в монастыре... И, чтобы вы убедились в этом, я разрешаю вам остаться здесь... Поживите и убедитесь сами... Я не буду вас задерживать, когда вы захотите уйти. У вас будет руководительницей мать Филарета... Вас отведут к ней. Она вам даст все указания... Идите!”

Я не сразу ушла... Я помялась на месте. Что-то хотелось сказать. Что-то безумно хотелось выразить, чтобы разбить этот лед, эту неприступную суровость... Но было как-то неловко говорить, да и не было слов таких. И я, помявшись на месте, поклонилась и молча пошла за послушницей к матери Филарете.

“Что же это? — думала я, идя по длинным коридорам монастырского корпуса. — Берут только для того, чтобы выгнать?.. Что же в таком случае может быть дальше?”

Мать Филарета... О, еще сейчас, мсье Вершинин, через семнадцать лет, я не могу спокойно вспоминать об этой женщине. Эта старая, даже престарелая истеричка за три года общения с ней вымотала всю мою душу, всю мою душу! Я не хочу ее особенно унижать; у нее была своя сложная и глубокая духовная жизнь и судьба... Но она вконец вымотала всю мою душу!

Это была сплошная смесь гордости, самомнения, властолюбия, с одной стороны, и — самоуничужения, покаяния, какого-то, если хотите, даже смирения.

Посадила она меня... за шитье. Вы представляете себе? За бесконечное, однообразное, нудное шитье в одной мастерской с прочими сестрами на целые дни, на все дни подряд и полностью! Известно, что в католических монастырях есть масса культурных занятий и таких послушаний, которые соответствуют уровню и способностям послушника. Но тут — ничего подобного!

Когда я просилась у матери Филареты в уединение, ради которого и пришла в монастырь, она отвечала ядовитыми улыбками и не без наслаждения произносимыми словами сарказма. Когда я просила научить меня молиться (я ведь знала, что в наших монастырях существует подробнее разработанная, тончайшая и глубочайшая молитвенная дисциплина), она говорила презрительным тоном: “Вы молоды! Вы еще не проходили никакого послушания”. И я опять уходила в эту нудную и пошлую пошивочную мастерскую — слушать сплетни, ссоры и глупость сестер,

которые, вероятно, вроде меня, еще не были готовы к уединению.

Я скоро поняла, что пошивочная мастерская монастыря отличается от наших маскарадов и концертов только тем, что тут все мелко, бездарно, мизерно, ничтожно и безвкусно, в то время как маскарады у нас были безусловно интересны в художественном отношении, а концерты — глубоки по содержанию, талантливы, а иногда, смотря по участникам, и прямо гениальны.

А главное, там и здесь суета, суетолака и невозможность уединиться! Боже мой, как я жаждала уединения и как мечтала о тихой и спокойной кельии, куда никто бы не входил и где я могла бы оставаться одна в течение нескольких часов! А вместо этого — целый день, целый огромный день — в мастерской, где еще двести человек бездарных, необразованных, мелких неудачниц, ушедших из жизни только потому, что были слишком слабы для ее серьезных требований!

А между тем я знала, что многие имеют свои отдельные кельии; знала, что есть тут какие-то особые высокие подвижницы и молитвенницы. Но имена их скрывались, и никто из нас — из младших, по крайней мере, — не знал, где, в каких потайных и странных кельиях они живут (а келий было ведь несколько сот). Когда я узнала одно такое имя и после больших трудностей узнала и место проживания этой подвижницы, то ее келейница не только сказала, что она никого не принимает, но еще и пригрозила донести игуменье о разгласке имени этой старицы.

Самое же главное мучение было, это — ежедневная, а иной раз даже два раза на день исповедь у своих руководительниц или у игуменьи. Это, собственно говоря, не исповедь (которую тоже очень часто совершали патеры), а рассказ о своих грехах и помыслах.

Боже мой! Что это за насилие и скука, что это за тошное занятие, способное, кажется, свести с ума всякого живого человека! Так как эта исповедь производилась ежедневно, то уже все рассказывалось по сотне раз и нужно было придумывать все новые и новые грехи, чтобы хоть что-нибудь сказать Филарете и в особенности игуменье. Иной раз рада бывала явному греху, чтобы только быть в состоянии хоть что-нибудь сказать на исповеди. Бывали, например, такие случаи, что из окна высокого корпуса, из которого была видна местность за спиной, заметишь группу мужичков, напевающих свои веселые песни и даже танцующих или играющих на своих инструментах. Слушать их — тоска еще больше берет, и глаза твои не видали их никогда! Но — чтобы хоть какой-нибудь грех иметь, откроешь это форточку и послушаешь пьяную ватагу в течение хотя бы полминуты. А на другой день говоришь об этом на исповеди, размазываешь, а тебя ругают, наставляют... Оно, смотришь, и вышла тема для исповеди.

Но один раз произошло и нечто новенькое.

Мне наскучило сидеть за этим монотонным и бездарным шитьем. День — среди двухсот сплетниц и идиоток, ночь — тоже не одна, целых пять душ в одной кельии — миниатюра той же пошивочной. Я знала, что во многих монастырях культивируется музыка, ее преподают, изучают и всячески используют для целей пропаганды и укрепления католической церкви. А кстати сказать, меня не пустили даже в церковный хор, где я могла бы не только петь, но и быть самым настоящим регентом — вместо тех малограмотных самоучек, которые там управляли хором и были учительницами пения. Я и решилась однажды попросить свою мать Филарету:

“Матушка Филарета! Мне очень хочется поиграть на рояле... Разрешите мне поиграть на рояле...”

С Филаретой сделалось что-то небывалое. Она покраснела, посинела, высунула из-под рясы свои кулаки и, потрясая ими в воздухе, завопила:

“Как!.. На рояле играть?.. Играть на рояле?.. Может быть, вам еще и мужчин захотелось?.. В прах! Ниц передо мною!.. Ничтожество! Ниц передо мною!”

Я — сама не знаю почему — упала перед ней на колени, скрестила на груди руки и униженно склонила голову вниз.

“Куда? Куда прятаться? — клокотало у Филареты. — Нечистые глаза! Смотреть на меня, ничтожество! На меня смотреть!”

Я, продолжая стоять перед нею на коленях с скрещенными руками на груди, подняла голову кверху, но не могла открыть глаза, чтобы смотреть ей в лицо.

“Смотреть на меня!” — вопила Филарета.

Я не могла открыть глаз.

Вдруг Филарета схватила смычок от скрипки, которую пользовались регентши во время спевков, и со всей силы ударила меня им по щеке.

Меня всю затрясло, и на щеке появилась кровь. Но я не могла открыть глаз и что-нибудь сказать, а только держала голову вытянутою кверху, так как Филарета требовала смотреть на нее.

“Я тебя заставлю смотреть на меня!” — кричала Филарета и — еще раз с прежней силой ударила меня смычком по щеке.

Я вся тряслась, и во всем теле только стучало и билось: “Господи Иисусе! Господи Иисусе! Господи Иисусе!”

“На скотный двор! Я тебя научу музыке! На скотный двор!”

Я так и оставалась в прежнем положении, на коленях, вся дрожащая, с скрещенными руками на груди, с высоко поднятой головой и с закрытыми глазами.

Но тут Филарета вдруг почему-то прекратила сцену и стала уходить, бросивши только около двери:

“Только грех один от этаких!”

Я осталась одна в этой комнате и не знала, что мне делать. Когда прошло несколько минут, и я стала приходить в себя, то нужно было уходить и мне отсюда, потому что на щеке была кровь, и туда мог кто-нибудь войти.

Я пошла в свою кельию, обмыла щеку, увидела две кровавых черты на правой щеке от смычка и сочинила сестрам какую-то небылицу о своем неловком падении на монастырском дворе и о царапинах от дождевой трубы.

Значит, меня ожидала перспектива скотных работ — уборки за коровами, доение и кормление коров и — жизнь в хлеву и конюшне.

Случилось, однако, иначе.

Ночью, и не раннею ночью, часов около двух, меня вдруг будит посыльная от Филареты и говорит, что та хочет видеть меня сию же минуту.

При этих словах посыльной меня опять затрясло, но — делать было нечего, и я быстро оделась, поправивши свою перевязку, которая успела за ночь растрепаться.

Войдя в келлию Филареты, я увидела ее перед образом Спасителя, на коленях.

Было темно, и только тихо горела розовая лампадка.

Я вошла не стучась, но, войдя, остановилась у порога и не могла ни двинуться дальше, ни решиться что-нибудь сказать.

Филарета, видимо, даже не услышала, что я пришла, и продолжала горячо молиться, воздевая руки к небу и бия себя в грудь.

Наконец я кашлянула, и — Филарета стала суетливо подниматься с колен, хотя делала она это не быстро по своей старости.

Поднявшись на ноги, она подбежала ко мне, притащила меня на середину комнаты, потом... потом бухнулась мне в ноги и стала обнимать мои колени и целовать грязные ботинки.

“Прости меня! Милая девочка, прости меня, грешную... Милая, родная моя, прости меня, прости...”

И она горько и судорожно рыдала, не давая себя поднимать с полу и громко причитывая, — несомненно, глубоко и жарко каясь в побоях и ругани, которые она учинила надо мною днем.

Я не знала, как утешить старуху; и мне едва-едва удалось поднять ее старческое тело и усадить ее в кресло. И сидя она еще продолжала вздрагивать плечами и задыхаться от слез.

“Милая, ты ведь ничего не знаешь... Ты ведь очень молода... Тебе нельзя за рояль... Можно более опытным... Игуменья накажет...”

Я старалась ее утешить, как могла.

У меня не было к ней никакой злобы ни тогда, в минуту побоев, ни теперь, в минуты ее раскаяния. Наоборот, когда она меня ударила, я сразу пережила это как что-то неизбежное, нужное и даже как бы не зависимое ни от ее темперамента, ни от моих проступков. Однако, любить ее я не могла. Не могла, мсье Вершинин! И, вероятно, по этому самому мое искреннейшее желание утешить ее и уверить в своем прощении не оказали нужного воздействия. И бессознательно Филарета не могла этого не чувствовать.

“Родная, милая! Я тебя проведу в комнату, где рояль, в свободный час... И никто не узнает... Игуменья не узнает... Но только ты прости меня, окаянную, прости меня, смрадную...”

Это было с ее стороны даже самопожертвованием. Разрешить мне пользоваться роялем без ведома игуменьи и даже вопреки тамошнему обыкновению, это было — самопожертвование. Но... и это на меня не действовало. Я всячески уверяла ее в своем прощении, в своей любви, и мне так хотелось все простить, забыть и покрыть любовью. И... не могла, не могла! Что-то произошло непоправимое и даже — не вчера, во время побоев, но вообще, за всю мою монастырскую жизнь. Что-то было безвозвратно потеряно и воскресить его нельзя было никакими сознательными усилиями.

На другой день Филарета действительно провела меня в залу, где был рояль и даже было много разных нот.

Предупредивши, чтобы я никому об этом не говорила и чтобы я пользовалась инструментом не позже такого-то часа, она ушла и оставила меня одну.

Полтора года я не прикасалась к клавишам и тогда, в этот момент, когда я осталась одна... я почувствовала, что в моем тогдашнем положении действительно неуместна никакая музыка. Я вдруг почувствовала, что эта пропасть “мы” и “вы” — не выдумка игуменьи, но — самая настоящая и притом жуткая реальность.

“Мы” и “вы” — вот что говорил мне в монастыре каждый мельчайший факт, каждая черта лица встречаемых там людей, каждое слово, каждый звук, каждая — и даже самая незначительная — вещь.

Откуда это? Что это такое? Разве не всех призывает Христос? Разве не все одинаково равны перед Ним?

Но — нет! Преодолеть эту бездну и эту каменную, холодную, неподвижную стену, сломать и растопить этот вечный лед заполярного севера — я не могла! И севши за рояль, еще не решаясь надавить ни одну клавишу, я это почувствовала, но не так вообще, как всегда, а мучительно больно и остро и совершенно безысходно.

Я два-три раза пробежала по клавиатуре, намереваясь проиграть несколько гамм, но я тотчас же убедилась, насколько загрубели мои пальцы и как много нужно упражняться, чтобы вернуть прежнюю технику.

Я не стала упражняться. Через полминуты мне стало так тяжело, так тяжело, что я тут же и прекратила свои гаммы и поднялась со стула. А походивши по комнате еще с полминуты, я посмотрела с тоской на рояль и ноты и... ушла, ушла с тем, чтобы больше уже никогда не просить разрешения поиграть.

Что же вы думаете? Вы думаете, этим и кончилось? Ничуть не бывало.

Вечером же меня вдруг зовут к игуменье...

Я ожидала, конечно, нового скандала и, может быть, побоев, но дело обошлось проще. Игуменья была необычайно лаконична. Когда меня ввели к ней, она только спросила:

“Кто мне говорил, что музыка — это суета?”

И когда я, конечно, молчала, она задала еще один (и уже последний) вопрос:

“А кто вам говорил, что вы должны вернуться к музыкальным занятиям?”

Я молчала, потупив голову.

“Идите!” — сурово прошептала старуха, и я ушла.

Но и на этом еще не конец. На другой день, очень рано (что-то часа в 3-4 утра) меня разбудили с тем, чтобы я шла на скотный убирать за коровами, да заодно чтобы взяла и свои вещи для переезда в одну из комнатушек на скотном.

Значит, кто-то донес игуменье; игуменья меня наказала; попало, очевидно, и Филарете, но это было сделано

незаметно — ввиду возраста и почтенности Филареты.

На скотном я почувствовала себя несколько лучше. Только приходилось очень уставать и иметь худшую пищу, но зато я избавилась, наконец, от двухсот бездарных мещанок пошивочной мастерской и приобрела довольно много друзей среди простых крестьянок, из которых главным образом и состояла обслуга скотного двора. Я даже думала, что переход на скотный спасет меня от Филареты. Но, к сожалению, она была по-прежнему оставлена моей руководительницей, и я продолжала ежедневно ходить к ней на исповедь.

Отношения с Филаретой так и не наладились.

Через два-три дня она опять устроила мне сцену — правда, без побоев (побоев больше уже никогда не было). И так как по монастырскому уставу я не имела права возражать старшим, то она проделывала надо мною самые невообразимые вещи, давая полную волю своему темпераменту, своей истерии и своему языку.

Правда, она часто сожалела об этом; и я сама не раз замечала в ее глазах раскаяние; и тогда речь ее становилась мягче, теплее, человечнее.

Мне было тогда уже все равно! Частое раскаяние Филареты касалось ведь только ее собственной внутренней жизни, а ведь я-то была тут не при чем. Я была только какое-то орудие для ее духовной жизни, которым она то соблазнялась, то каялась, но тут не было и речи о внимании ко мне, как к человеку, который пришел в монастырь избавиться от мирской суеты.

Так и не наладились у меня интимные отношения с Филаретой.

Зато на конюшне я приобрела новые знакомства, облегчившие мне мою нелепую жизнь в монастыре, и среди них — одну пожилую монахиню Екатерину, малограмотную крестьянку, дававшую мне много разных советов, но в то же время сыгравшую роковую роль в смысле моего ухода из монастыря.

Она очень жалела меня; и представьте себе: она тоже советовала мне уйти из монастыря и... выйти замуж.

“Только не верь мужчинам, и не верь любви, ни своей, ни мужской. А выходи замуж, чтобы иметь семью, чтобы воспитать новых христиан. Вот на этом и уйдешь от суеты, на этом спасешься. Люби детей своих и воспитай из них верных слугителей Христовых. На этом и найдешь утешение, и от суеты спасешься. Любовь родительская утешит тебя и нового человека воззовет в тебе”.

Чужды мне были вначале эти слова, но я искренно привязалась к Екатерине. И даже сейчас это — самый светлый образ в моей памяти не только за весь монастырь, но, кажется, и за всю жизнь.

Странно, однако, что на все мои расспросы о порядках монастырских — например, о том, что я на шитье себя чувствую хуже, чем, на балах и маскарадах, что в пошивочной — базар, суета, сплетни и зависть; что мне бы хорошо играть на рояле и участвовать в организации хора, что у меня такая нервная и злая руководительница и т. д. и т. д., — странно, говорю я, что и Екатерина отвечала на все эти расспросы только одним: “Бедная ты моя девочка! Трудно тебе. Не понять тебе этого. Слишком ты молода и хороша собою. Как тебе объяснить, если ты еще не в состоянии понять! Проси Господа, чтобы вразумил тебя и дал терпение. Помни нашу главную монашескую заповедь: в терпении вашем стяжите души ваша”.

Если бы не Екатерина, у меня к монастырю осталась бы только злоба и ненависть. И только благодаря ей я вспоминаю сейчас о монастыре — хотя и без любви, но зато и без вражды, а скорее даже с уважением.

Да, это что-то большое, великое, но что-то непонятное и жуткое, а, главное, что-то не мое, не для меня... “Мы” и “вы” — в этом меня Екатерина не разубедила, а скорее наоборот — убедила, но убедила как-то незаметно для себя и меня, убедила мягко и тепло — как в чем-то правильном и неизбежном.

На скотном я была очень долго. Почти около года. И уже было два с половиной года моего житья в монастыре, когда я опять была переведена в пошивочную.

Я удивляюсь одному: откуда это были у меня силы терпеть и сносить всю эту нелепость и сознательное издевательство надо мною? Но я терпела, терпела беспрекословно без всякого возражения. И могу похвалиться сейчас: за всю свою монастырскую жизнь я никому не сделала чего-нибудь такого, в чем приходилось бы раскаиваться. Да и не помню: была ли у меня хоть какая-нибудь одна ссора с сестрами?

Наконец, вся эта комедия и трагедия моего монастыря пришла к роковой развязке.

Сидя в пошивочной и живя среди швей, я часто бегала на скотный к Екатерине, которая после моего удаления со скотного еще полгода оставалась лучшим моим другом и наставницей и без которой я уже не представляла себе своей монастырской жизни.

И что же вы думаете? Я вам сейчас скажу такое, что вы уж никак ожидать не можете. Можно думать все что угодно, но только не то, что я вам сейчас скажу.

Кто-то очень меня ненавидел, и кому-то я действительно стала поперек горла, потому что только этим можно объяснить слух, который пошел обо мне и Екатерине. *Нас обвинили в противоестественной связи.*

Это и было концом всего!

Ходить по старшим, оправдываться, умолять о пощаде, делать умильный и покаянный вид... Нет! Это — гораздо более глубокая суета и более пустое времяпровождение, чем та светская жизнь, которую я оставила в Париже.

И я наконец решила уйти.

Никто, никто меня не пожалел, кроме Екатерины. В последний раз мы просидели с ней целую ночь, рискуя нарваться уже на открытый скандал, много плакали и скорбели, но вывод был один: я не имела сил дальше оставаться в монастыре, и Екатерина благословляла меня на этот уход.

Так мы и расстались.

“Спасайся чадородием!” — было ее последнее наставление. В темную ночь она благословила меня, помогла взвалить на плечи небольшой мешок с вещами и проводила до монастырских ворот. На другой день утром, одетая, конечно, по-мирски, я уже нашла себе комнату в Париже и поместила в газетах объявление о своих уроках музыки.

Никому я ничего не говорила в монастыре о своем намерении уйти — кроме моего единственного друга

Екатерины. Да, вероятно, никому это и не было интересно. Я думаю, всем это показалось только естественным и нормальным.

Три года жизни в монастыре! Три года, мсье Вершинин! Вы понимаете, что значат эти три года?

4.

Уже не раз во время рассказа Елены мною начинало овладевать особое чувство, названия для которого никак не могу подобрать.

Это чувство и безнадежности, и теплоты, даже какой-то страстности одновременно; безнадежности в том, что я не мог бы когда-нибудь по-настоящему любить Елену и быть с нею взаимно связанным на всю жизнь; и — теплоты, горячей возбужденности, почти любви — да, любви! — к ней, к ее удивительной судьбе, к ее надрывам, к ее какой-то внутренней, едва-едва проступающей сломленности.

— Елена... — лепетал я, охваченный этим минорным восторгом, — Елена... Вы — чудная, удивительная женщина...

Она задерживала глубокий вздох и смотрела чуть-чуть в сторону.

— Что же тут чудного и удивительного? — печально сказала она. — Разве мало народу идет в монастырь, а потом через три года бросает его!

Рассказ сделал ее задумчивой и какой-то тихой, — а мое поведение становилось уже довольно интимным.

— Дорогая! — сказал я с чувством. — Вы не можете себе представить, как вы меня тронули... Вы меня так растрогали...

Я хотел сказать другое. Я хотел сказать, что мне теперь становится понятна та холодная наружность ее, которой она отличается на своих концертах, что это — только печать прожитой жизни, и что настоящая Елена — веселая, милая, непринужденная, чистая и наивная девочка, вот та, которой она сейчас мелькает передо мною. Но почему-то я этого не сказал, а только заговорил о трогательности.

— Но тогда — уж заодно! — слушайте и дальше... Вы сами разбередили эти старые раны... Хотите слушать дальше?

Я полусутил стал перед ней на одно колено в знак глубочайшей заинтересованности в ее рассказе.

— Ну, тогда слушайте! Я стала давать уроки музыки. Мне был тогда двадцать один год. За время моего отсутствия умер отец, а мать уже успела выйти замуж за другого. И — к счастью! У нее началась новая жизнь, и обо мне постепенно стали забывать.

Вышла я из монастыря без вражды к нему — наоборот (и это удивительное дело!), с глубоким уважением. Но я ушла без любви к нему, и ушла с надрывом. Я уже сказала вам, что тут случилось какое-то непоправимое событие, оборвалась какая-то внутренняя струна, и это — на всю жизнь, на всю жизнь! Знаете ли? Ушла детская и наивная радость жизни, и — ушла навсегда! Что-то случилось такое, чего не исправишь целую жизнью, да и стоит ли исправлять!

Завет Екатерины о чадородии я помнила. И, кажется, это был единственный выход. Проживши в Париже два-три месяца, я вдруг ощутила точно такую же необходимость иметь семью, как тогда, три года назад, чувствовала необходимость ухода из родительского дома.

Я прилично зарабатывала и жила довольно одиноко. Но почему-то это не считала я уединением, к которому так стремилась чуть ли не с восьмилетнего возраста. Почему-то стало тянуть меня к семье, к собственной семье. И казалось, что ни музыка, ни монастырь, ни что другое не даст этой сосредоточенности и серьезности, как рождение и воспитание детей — так, как говорила и благословляла незабвенная мать Екатерина.

Да и действительно, мсье Вершинин! Что же может быть для молодой женщины более чистого, более святого, более ценного, и ответственного, — я бы даже сказала, более увлекательного, — как не рождение и воспитание детей, как не создание здоровой, хорошей семьи на основах любви, чести, взаимопомощи, чистых и светлых уз родства!

Да! И — как я была наказана! Как я была наказана за свою новую необдуманность!

Три года назад я сунулась в монастырь, увлекаемая жадной уединения и не знающая, что такое монастырь на самом деле. А теперь, тоже увлекаемая жадной уединения и сосредоточения, я полезла в семью, совершенно не зная и не предполагая, что такое семья и чем она может быть.

Партнер мой оказался не худой человек. Это был финансовый туз, с которым я познакомилась на одном из своих уроков.

Но... Не могу! Мсье Вершинин, не могу вам рассказать всех своих чувств, которые овладели мною с первых же дней моего замужества.

Быть может, меньшая жажда семьи и более спокойный и трезвый выбор супруга дали бы лучшие, — хотя и не столь быстрые, — результаты... И, может быть, я слишком поспешила... Но...

Не могу! Этой, так называемой супружеской жизни, — не могу сносить! Убейте меня, режьте меня на куски, но — не могу, — понимаете ли? — *нине-мммо-гу!!!*

Мой милый *Nicolas!* — тут Елена впервые назвала меня по имени, и, начиная с этих пор, тон ее становился всё более и более задушевым, дружеским и даже интимным. — Мой милый *Nicolas*, вы поймете меня... Вы не можете не понять... Иначе так само не рассказывалось бы вам... Да, мой супруг, — и тут Елена стала говорить почти шепотом, — мой супруг... это — знаете? — какое-то шершавое животное... Это какой-то горилла... Ах, как все это гнусно, как все это грязно, а главное, как все это бесконечно пусто, скучно, ничтожно, как это бездарно и жалко!

Елена замолчала, и я уже не смел ничего сказать. Но, кажется, она была права, что я ее понял.

— Дело не в браке... не в постели... — совсем шепотом говорила она. — Я уверена, что возможна совсем другая постель... Но это, это!..

И она даже в ужасе закрыла лицо руками, как будто бы неожиданно встретила в лесу с диким зверем, одна-

одинешенька, с глазу на глаз.

— Этот мелкий, похотный, гадкий смешок, этот... Нет, я не могу, я не могу!

Елена вскочила с кресла и стала быстро ходить по комнате. Встал за ней и я.

— Сядьте, милая! Не будем говорить об этом... Я вас *так* понял... *так* понял... Сядьте, успокойтесь. И расскажите дальше.

Она села и, вздохнувши, продолжала рассказ.

— Бывают такие законные браки, мой друг, которые хуже всякого разврата. Бывает такой брак, что, кажется, чище будешь в публичном доме, чем при таких брачных отношениях. Вот такой брак был у меня...

Внешне мой супруг был приличнейший и солидный человек... Он даже любил меня, и очень искренно любил. Но когда я начинала намекать ему на невозможность некоторых его методов, он только искреннейшим образом удивлялся и не понимал, в чем дело и о чем моя забота. Этот человек *не мог* вести себя иначе; *таким* он был до самой последней глубины, не представляя себе ни на одно мгновение, что можно быть иным...

Я уже не говорю о том, что опять начались эти балы, концерты и маскарады, от которых я бежала тогда, три года назад. Но это было теперь хуже, так как тогда я была девочкой, одной из очень многих в доме, а теперь я была, как хозяйка, в центре всеобщего внимания, и мною гордился мой супруг, выставляя меня на показ, как некую куклу, и заставляя давать домашние концерты на славу и удивление среди бесчисленных гостей.

Но и это бы ничего, если бы не то, не то...

Ах, какая это мерзость, какая это мерзость и — скука, скука, скука прежде всего!

Так и не удавалось мое уединение, которое я хотела найти в браке.

Вы сами понимаете, что вся моя надежда была на ребенка. И так как муж мой этому не препятствовал, то не прошло и года моего замужества, как у меня появился мальчик... Боже мой, как я ждала этого ребенка, как тщательно готовилась быть матерью! И хотя “методы” супруга не прекращались, я с замиранием сердца ждала этого благословенного дня, когда у меня будет, наконец, цель жизни и я смогу посвятить ей все свои силы.

Да! Ребенок родился, и...

Тут Елена замолчала и как-то нахмурилась. Я не смел задавать вопросов и покорно, хотя и страстно, ждал окончания рассказа.

Но здесь нервы Елены, наконец, не выдержали; и она, забывая “правила” обхождения, бросилась лицом ко мне на плечо и громко зарыдала.

— Милая, добрая девочка! — стал и я впадать в интимность. — Милая моя, измученная девочка! Успокойтесь, моя дорогая, моя чудная, моя сердечная...

Тут я уже гладил ее по голове, стараясь чем-нибудь утешить; и это долго никак не удавалось.

— Умер! — едва прошептала она, заливаясь слезами. — Через три месяца умер!

Я вздрогнул, и — чувства те, о которых я упомянул выше, усилились в эту минуту еще больше.

Да, это была гордая и сильная, энергичная и открытая натура, но — она была внутренне сломана или тяжело надломлена. Надрыв и какое-то бессилие — вернее, нежелание проявить силу — неизлечимо, навсегда водворились в эту женщину. Что-то в ней чувствовалось загубленное, невыполненное, надорванное. Действительно, оборвалась какая-то самая ответственная струна ее духовного инструмента, и аккорды ее жизни стали с тех пор печальными, неустойчивыми, ненадежными, хотя и много было в них силы...

А это мне нравилось! Что-то родное в ней чувствовал я, какое-то понимание жизни, родственное моему, и — в душе тихо заструились недавно бывшие чувства нежности, безнадежной любви и симпатии.

Елена оказывалась — чем дальше, тем больше — и моей безнадежностью, и моей пылкой, горячей страстью.

Мы уже почти обнимались, как вдруг она спохватилась, откинулась от меня, начала быстро поправлять прическу и заговорила сразу почти нормальным голосом:

— Но, это я уж слишком... Довольно! Это все вы виноваты... Вызвали меня на откровенность. Никаких слез! Терпеть не могу слез. В особенности — женских! — И она слабо улыбнулась, отирая с глаз последние слезы. — Никогда не плачу и — никогда не буду плакать! Это — уж ради вас... Но, вот... Так что ж? Ребенок умер... Да, через три месяца умер... Ну, а с мужем я попросту развелась... Этому безобразию должен же был наступить когда-нибудь конец! Я развелась, — вот и весь мой рассказ.

— И после этого вы стали концерттировать?

— О! — возбужденно и с темпераментом отвечала Елена. — После этого я и стала тем, чем вы меня сейчас находите. К черту все привязанности! Да, да! К черту все эти цели жизни! Уединения нет и не может быть в этом проклятом мире. Какая это была наивность — искать утешения в монастыре или в браке! Нет! Человек должен быть распят — вот где утешение. Раз уж Ты был распят, то и человек должен быть распят. Или это не человек, а так... вроде моего супруга или вроде той, этой несчастной Филареты. И вот оно, это мое распятие: быть на людях, на толпе, в обществе, не иметь возможности укрыться от чужих глаз, не иметь собственного угла, скитаться из гостиницы в гостиницу, из города в город, из страны в страну, с этими концертами, которые так же нужны всем, как и не нужны никому, не иметь друзей и родных, не быть ни с кем связанной и ни к чему не привязываться, — вот моя жизнь, вот мое уединение и вот мое распятие!

Она опять вскочила и стала быстро ходить по комнате, оживленно жестикулируя.

— И я уже доказала твердость своего решения, я уже доказала. Мне ведь тридцать девятый год, я слишком не первой молодости.

Семнадцать лет прошло после ухода из монастыря, больше пятнадцати лет после развода с мужем. Мне тридцать восемь лет, но с тех пор меня не целовал ни один мужчина, с тех пор я не приобрела ни дома, ни имения, с тех пор я не оставалась ни в одном городе больше двух-трех месяцев. Я — странница! Мсье Вершинин, я странница, — остановилась перед мною Дориак и била себя в грудь. — Я — странница, не имеющая где приклонить свою голову.

Что у меня есть? Вон, видите? — она указала на два больших чемодана и несколько картонок и более мелких узлов, — вон, видите? Это — все, чем владеет Елена Дориак. Да хотите, и эти тряпки я могу отдать и раздать без малейшего сожаления. Официально мой дом в Париже. Но что это за дом? Это — одна комната в квартире, которую снимает моя замужняя тетка. И в комнате-то этой только рояль, нотный шкаф, да несколько узлов все тех же жалких тряпок. Вот вам дом Елены Дориак! А бываю я там? Бываю я там всего несколько раз в год, по несколько дней... Вот вам дом Елены Дориак!

Пятнадцать лет назад я ушла от этого презренного мира и вселилась в пустыню. Пятнадцать лет я несу свой подвиг без всякого упрека, без всякого ропота, без всякого раздражения, несу смиренно, униженно, с послушанием, которому учили меня в монастыре. Пятнадцать лет я уже больше ни к кому и ни к чему не привязана, презираю любовь, брак, общество, ненавижу женщин и мужчин, слезы, мольбы, упреки, ненавижу любовь, ревность, супружеское ложе, общественные правила и приличия. Пятнадцать лет ко мне не посмел прикоснуться ни один мужчина, хотя стоило мне только пошевелить пальцем, чтобы сию же минуту десятки оказались у моих ног. И каких пятнадцать лет! Эта женская жизнь с двадцати трех до тридцати восьми лет! Вы понимаете, что значат для женщины эти пятнадцать лет, это самые счастливые, самые здоровые и цветущие, и самые прекрасные пятнадцать лет! И вот я их отдала своей идее! Я отдала их своей пустыне, своему одиночеству, своему распятию и своей свободе!

Теперь я уже старею. Теперь я уже черствую, леденею, ожесточаюсь. Из меня выходит и испаряется в воздух все женское, все нежное, все благоуханно-интимное! Я беднею духовно и становлюсь нищей, но я... — тут она опять остановилась передо мною и, опять необычайно повысивши голос, стала бить себя в грудь на манер трагических актеров, — но я свободна, я — отшельник, я ни от кого не завишу, я — схимница посреди этого всечеловеческого Содома, я — вне его и презираю его!

Она села, но волнение поднимало ее грудь, и она никак не могла успокоиться.

Через мгновение она вскочила опять и опять с ожесточением стала говорить:

— Вы думаете, мне нужна музыка? О, как вы заблуждаетесь, если думаете так! К музыке я отношусь ровно так, как тогда, перед уходом в монастырь. Достаточно сказать вам уже то одно, что я уже несколько лет не читаю никаких рецензий о своих концертах. Музыка — это тоже суета, тоже базар и сутолока, тоже томление и даже смятение духа! Но музыка и не только мое ремесло, мой заработок. Музыка — это все тот же мой вечный монастырь на людях, моя безводная пустыня, в которой и спасаюсь, и — распинаюсь! Все эти ее откровения, о которых вы говорите, я отдам за одно мгновение подлинного жизненного счастья, — будь то просветленное веселие подвижника-молитвенника, будь то семейный мир и радость счастливой матери! Музыка — это мое странствие! Музыка — это моя пустыня! Музыка — это мое распятие!

Вот вам мои три правила жизни.

Первое. Ни к чему не стремись и не ставь никаких целей в жизни.

Господи, как я искала эту цель, этот смысл! Сколько сил положено на то, чтобы найти — по крайней мере, хотя бы только понять, хотя бы только ощутить эту цель и смысл. Но — не далась никакая цель, не пришел никакой смысл! Но тогда — что же мне остается делать? Как я могу жить со смыслом, когда нет этого смысла, — при слове “нет” Елена опять ударяла себя в грудь, — нет этого проклятого смысла нигде ни в чем? Живи без смысла — вот мой девиз. Живи без цели — вот моя цель, или бесцельность — как хотите! Бесцельность, вот моя цель. Какая цель у листа с дерева, который носит осенний ветер с места на место и которому не суждено уже больше питаться от родной ветки и свежей зеленью создавать красоту и счастье Божьего мира? Какая цель у осенних листьев, оторванных ветром от дерева, пожелтевших и побуревших, которые скоро покроет мертвый саван снежной зимы и морозов? Вот моя цель, мсье Вершинин! Вот моя музыка!

Второе. Ни к кому и ни к чему в жизни не привязывайся и никого и ничто не называй своим.

Я уже вам говорила, что я — нищая. Я вам уже говорила, что пятнадцать лет лучших, прекраснейших лет моей жизни прошли без любви, без ласки, без тепла... Это все я сознательно прогоняла от себя, топтала ногами, презирала и ненавидела! Умрет Елена Дориак, и от нее не останется даже тысячи франков, чтобы ее похоронить, а придется продать вот эти вот тряпки, которые я держу не для себя, конечно, а все для того же общества, для тех же приличий, для своих выступлений. Боже, как я презираю все женское, все мужское, всю эту гадкую мистику постели! При одной мысли, что еще кто-нибудь из мужчин будет мною обладать, я приходила в бешенство и — сколько хороших людей я отогнала от себя, даже обидела — ради своей идеи, ради своей пустыни, ради своего распятия!

И вот, наконец, мое *третье* правило.

Отдай себя на распятие людям, и — вот твоя пустыня, твоя подлинная монашеская келлия.

— Мсье Вершинин, браво! — тут она нервно захлопала в ладоши, — браво! Сегодня вы нашли женщину с идеей! В первый раз, надеюсь, в жизни вы нашли, наконец, женщину с идеей!

Я давно уже не мог спокойно сидеть на месте. Боль, жалость, досада, сострадание, щемящая и безотрадная любовь начали kloкотать у меня в груди. И я с трудом удерживал себя от крайностей, чувствуя, что сейчас что-то случится, что я перестану владеть собою, что я подскочу к Елене и... и...

При ее последних словах я, наконец, действительно вскочил со стула, бросился к ней и стал без ума, без памяти, безумно и страстно ее обнимать и целовать.

Она не сопротивлялась, но продолжала все в том же возбужденном, только сейчас, пожалуй, еще в более патетическом и восторженном тоне декламировать:

— Целуй меня, целуй! Целуй этот холодный гранит, эту каменную плиту над могилой Елены Дориак! Вкуси эту безводную, выжженную пустыню юга, эту снежную мрачность мертвого севера, этот лед, эту безлунную ночь, этот гроб увядшей и погибшей юности!

Она обнимала меня левой рукой, меня, плачущего, рыдающего, покрывающего ее лицо и тело горячими поцелуями, а правой — она восторженно жестикулировала с какой-то воспаленной и надрывной торжественностью,

как бы декламируя перед каким-то невидимым зрительным залом:

— Смотрите! Этот философ, любящий уединение, целует монахиню-пустынницу, нищую, отверженную Елену Дориак! Смотрите: этот жрец утонченной культуры и мысли рыдает на груди у гордой, свободной, бездомной и мрачной Елены Дориак! Смотрите: вот слезы жалобы, протеста, безумного вопроса, сострадания, жалости, вот рыдание чистой мысли на могиле умерших надежд, неродившейся любви, загубленных взлетов и подвигов... Но позвольте...

Тон ее вдруг переменялся, и она как бы на мгновение пришла в себя, внимательно всматриваясь в мои объятия и слезы.

— Позвольте... Это... что же? Так страстно?.. Мсье Вершинин!.. Это... так страстно?.. — задумчиво шептала она.

Но тут этот тон внимательности и задумчивости вдруг прервался опять, и она пришла к еще большей восторженности, граничившей уже не с трагической сценой, а прямо с сумасшествием. Она вдруг стала судорожно хохотать и громко кричать, — однако, не отбрасывая меня, а все еще продолжая обнимать меня левой рукой, то отпуская, то крепко, рывками прижимая меня к себе:

— Ха-ха-ха! Он влюблен! Смотрите! Ха-ха! Философ влюблен в монахиню! Этот безумный мыслитель хочет владеть схимницей! Ха-ха-ха!

Я не мог сдержать своих слез и продолжал рыдать у нее на груди, а она истерически хохотала и произносила какие-то странные слова, вернее, выкрики, которые я сейчас уже и не вспомню, в роде такого, например:

— Вперед! Вперед! — и ее правая рука что-то выдвигала, чего я уже не мог видеть, уткнувшись лицом в ее грудь. — Вперед! Союз философа и пустыннощи! Ха-ха-ха! Посторонитесь! Постор-р-р-они-тесь! — и я чувствовал, что она в это время сильно потрясает правой рукой, как бы расчищая себе путь среди невидимых полчищ окружающих людей. — Вперед! Вперее-е-д! — сумасшедше кричала она. — Этот мужчина любит северную мглу, могилы и склепы! Этот безумец влюблен в отчаяние, в пустоту, в безнадежность! Ха-ха-ха! Николай Вершинин влюблен в Елену Дориак! Не хотите ли, мсье, на мне жениться? Или, может быть, без женитьбы? “Так”?

И она пуще прежнего залилась сумасбродным хохотом, так что даже и я уже стал приходить в себя и утирать глаза, а она, ни на минуту не отпуская меня от себя, все еще продолжала что-то декламировать перед мнимым театром.

Я стал ее мягко и без слов успокаивать, глядя по лбу и волосам и глядя по рукам.

— Да вот он, вот он, наш союз, союз любви и безнадежности, пылкой страсти и безвозвратных потерь. Вот!

И она подскочила к роялю, села и стала нервной и порывисто играть этуод Скрябина, последний из *op.* 8, — это, кажется, самое замечательное миниатюрное произведение из всей мировой фортепианной литературы.

Я не мог стоять на ногах и опять стал на колени около нее, сидевшей и игравшей у рояля, но уже слез не было и только голова моя сама собой склонилась к ней на колени; и я чувствовал, как ее нервные пальцы бегали над моей головой, задевая ее и, конечно, испытывая от нее некоторые затруднения в игре.

О, этот Скрябинский двенадцатый этуод *op.* 8! В нем действительно соединились рыдание и восторг, безнадежность и пыл, заведомая бесцельность и напряженно-ищущее стремление, и боль, и счастье, и тоска! Здесь трепет и буря ожидания уходят страдать в тоскливую мглу бесконечности, и нет разрешения, нет успокоения, а есть лишь сладость любви, сладость любви безответной. И этот жгучий минор, и эта буря бесплодия, и эта горячая кровь безнадежности, все это клокочет и бьется и разрывает пределы судьбы, но все это стонет и плачет, все это громко и отчаянно рыдает, завидевши вновь возникшую бесконечность пределов. О, эта сладость и безнадежность, эта жгучая страсть о навеки погибшем! Тут уже неизвестно, что происходит: тут смерть и любовь сплелись безраздельно; тут дух взывает к истине и любви, закликает их из своих последних глубин, тревожно и страдальчески мыслит и мечется, и тоскует, и скорбит, и рвется, и пламенеет, но — рыданию подобна его любовь, и распятию — истина. Распятый мир висит на кресте, и бесплодны судороги жизни. И любовь распята моя, эта сладкая и жгучая надежда на жизнь. И жизнь распята моя, эта вечная тревога и скорбь, эта погибшая, но вечно щемящая ласка и счастье сердец.

Восторженно и нервно играла Елена, и я без слез и без слов слушал эту игру, будучи не в силах поднять свою голову с ее колен.

— Ну, вот, — сказала она, кончивши этуод. — Слышали? Вставайте! Давайте сядем спокойно. Еще один акт предстоит. То есть акт этой драмы, — добавила она, улыбаясь, — которую мы с вами сегодня разыгрываем. Я чувствую, я знаю, что этот акт будет великолепный. Вы не догадываетесь?

Я бессильно повалился на диван, плохо отдавая себе отчет в происшедшем и совершенно не зная, что она имеет в виду.

— Вы не догадываетесь? Ну, так я вам расскажу: вы должны теперь рассказать о себе.

— О себе?

— Да, я теперь уверена, что этот рассказ будет похож на мой, и — тогда наша драма придет к естественному концу.

Я слабо вздрогнул:

— К какому концу?

— Я вам говорю — к естественному... Но, может быть, я ошибаюсь?.. Может быть, ваша судьба совсем не такая?

— Дорогая Елена, не будем мучить себя...

— Но вы кратко... самое главное...

— Елена, не мучьте себя.

— Ну, ладно! Я только задам несколько вопросов... Или нет... Я лучше сама расскажу за вас вашу жизнь... А вы только поправляйте... Согласны?..

— Согласен... — слабо промолвил я. — Для вас... согласен...

Елена спокойно села в свое кресло, а я был на диване, — совсем как в начале разговора.

— Во-первых, — весело и спокойно сказала она, — вы не живете с женщиной. Правду я говорю?

Я усмехнулся.

— Откуда вы это знаете? — спросил я.

— Я знаю это из вашего поведения.

— Вы думаете, что только холостые целуют артисток?

— Ну, я не о поцелуях, — сказала она, несколько смущенно отводя глаза в сторону.

— А о чем же?

— Ну, как о чем? Поцелуи бывают разные... Ну, бросим это. И вы, и я прекрасно понимаем, в чем дело... Что же расспрашивать? Итак, вы не живете с женщиной. Это — факт. Теперь дальше. Но тут у меня неясность. Одно из двух: или вы не были женаты совсем (в таком случае женщин вы все-таки знали), или вы давно развелись.

— Я вам здесь охотно помогу: я давно развелся...

— Великолепно! В таком случае брак ваш был кратковременный и, как говорится, несчастный.

— И в этом вы правы, — сказал я, испытывая какие-то нежные и мягкие приливы в душе.

— Ну, остальное в этом вопросе — детали. В конце концов — неважно, отчего развелись муж и жена. Важен самый факт развода.

— А чем вы все-таки объясняете то, что вам многое во мне стало ясно еще до моих рассказов? — полюбопытствовал я, желая убедиться кое в чем.

— Я же вам сказала, что это можно было узнать из вашего поведения... Да и какие же иные материалы могли быть у меня, если я вчера только познакомилась с вами?

— Да позвольте!.. Какое тут поведение! Ведь вы в беспамятстве что-то тут декламировали... Что вы могли, в самом деле, наблюдать?

— О, глубоко, глубоко ошибаетесь, мой друг! — весело и по-прежнему спокойно продолжала Елена. — Я все очень хорошо помню... И я вполне отвечаю за свои слова... Я совсем не была в беспамятстве... Однако, еще раз прошу вас: бросим это! Давайте идти дальше... Можно дальше?

Я пожал плечами и слегка развел руками.

— Давайте дальше, — с усмешкой сказал я. — Ваша проницательность мне... нравится.

— Хорошо. Со времени развода с женой вы не знали женщин. Подтверждения не требую. Это — факт.

Я улыбался.

— Далее. Вы — ученый. Но это, конечно, не моя проницательность. Это я знаю из вашей визитной карточки. Но меня и интересует не сама ученость... Меня интересует... мысль...

— Вас интересует мысль? — с удивлением и даже волнением спросил я.

— Да, меня интересует мысль... Даже я бы не сказала “мысль”. Меня интересует... Ну, как это сказать?.. Ну, помогите... Я не знаю...

— Вас интересует понимание, — уверенно сказал я.

— Да! Совершенно правильно, — с счастливой улыбкой и немного восторженно сказала Елена. — Меня всегда интересовало понимание... И я в вас нашла... какую-то стихию понимания, какой-то... аффект, что ли, понимания, какую-то жизнь как понимание...

Слабость вдруг прошла в моих членах, и я почувствовал прилив бодрящих сил.

— Это, в конце концов, замечательно! — вскрикнул я. — Понимание, ведь это же мой девиз, моя неизбежность. Это моя судьба. Когда у мыслителя все потеряно, что у него остается, кроме понимания? Когда мыслитель брошен в одну яму с прочим людом и лишен всякой так называемой “жизненной” базы и основы, что спасет его в отличие от всех людей, что утешит его, что, в конце концов, отличит его от всех прочих? Да, конечно, как говорил мыслитель, не горевать, не скорбеть и не жаловаться, но — понимать! Там, где обыватель пищит и жалуется, там, где мешане суетятся и мечутся, там мыслитель — безмолвствует и... понимает! Понимание — удел немногих. Надо выстрадать свое понимание. Только в уединении общается мыслитель с миром и только там он — понимает. Понимание — не интеллектуальный процесс, но жизненный подвиг. Понимать не значит мыслить или рассуждать. Это есть настолько же мысль, насколько и чувство, насколько и действие, стремление, влечение. Понимание — выше и глубже всех этих изолированных сторон души и духа. Понимает тот, кто видит изнутри, а видеть изнутри предметы и значит жить так, как живут они, отождествиться с ними. А отождествиться с какой-нибудь одной вещью значит оторваться от всех других вещей, значит рассечь мир на мертвые части. Отождествиться в понимании можно только со всем или, по крайней мере, с многим. Тогда видна тайная перспектива бытия, и понимание охватывает целые его участки. Понимать значит испытывать — вот почему это не есть функция рассудка. Но не просто испытывать, а еще и преображать испытанное, парить над испытанным, превращать его в разум. О, не в тот сухой и научный разум, который знает улица и работник в науке, но тот разум, которым пользуется хозяин в науке и который недоступен улице. Разум этот и есть само бытие, но освещенное и разгаданное — вернее, разгадываемое, являемое!

— Позвольте, — сказала Елена. — Вы говорили о мыслителе, у которого “все потеряно...” Вы предупредили меня. Я чувствую, что вы что-то еще потеряли, кроме жены... Но вот что именно, — тут не хватает моей “проницательности” (как вы это называете). А мне это важно знать... Скажете?

— О, что же мне теперь скрывать от вас, когда вы и так все узнали раньше моего рассказа? Да, я развелся с женой, которая тайком отдавалась всякому встречному и поперечному, которая ненавидела мои научные занятия, мою мысль, мое “понимание”, которая воровала из моих шкафов моих вечных спутников и друзей, моих наставников и учителей — мои книги — и продавала их за бесценок, чтобы покупать себе шоколад, которого и без этого было сколько угодно... Да! А развелся с нею я, и как вы после монастыря понадеялись на семью, я — понадеялся на свою

литературную работу. И — как вы ушли от этой семьи, заменивши ее своей пустыней, так и я принужден был бросить литературную работу и — уйти в свое общение с миром, в свое понимание...

— Но как же, как же это случилось? — оживленно и с нетерпением спросила Елена.

— О, это случилось очень просто... Все мои рукописи и все мои вещи — сгорели!

Елена вдруг встала, одно мгновение помедлила, потом села на диван около меня и молча, с глубоким участием, положила обе свои руки на мои плечи.

— Да! Случился пожар, тоже что-то около пятнадцати-восемнадцати лет назад, и — все сгорело, все сгорело дотла!..

— Так вот почему вы говорили о расставании с вещами! — шепотом и слегка качая головой, с глубоким и тихим сочувствием произнесла Елена.

— Да, поэтому... Но не только поэтому. Вещи были отняты у меня пожаром, а не сам я их отдал другим. А вот... кое-что я и сам отдал. После пожара на мне осталось немало вещей. Остались дорогие золотые часы, подарок умершего деда и память о всех самых чистых днях моего раннего детства. Остался дорогой кожаный бумажник — тоже подарок женщины, которую я сладко и нежно любил давно-давно, еще гимназистом, своей первой и чистой любовью, а она была тоже сама чистота и невинность — скромная, по-детски причесанная, в белом передничке гимназистка 6-го класса. О, вы знаете сами, эти чувства не повторяются.

И вот бумажник был символом этого невинного и чистого, первого и последнего, такого мимолетного и такого вечного счастья! Да! А еще была на мне дорогая шуба с бобровым воротником и такой же шапкой, так как дело было зимой и во время пожара я был на концерте... И было еще много разных вещей у меня на родине, в провинциальном городе, где я учился в гимназии. Да! Там была значительная часть имущества...

— И все это вы роздали?..

— Да, дорогая!.. И все это я роздал, роздал до конца, дотла, оставшись нищим и голым студентом, имея только необходимые вещи на себе, да и те — третьего сорта...

Елена молчала, склонившись головой ко мне на плечо.

— Все это, милый друг, я роздал!.. И даже зарок себе дал — точь-в-точь как вы: никогда ни к кому и ни к чему не привязываться... Если у меня отнята тут четверть дорогих мне вещей, то пусть будет отнято и все, — но только уже по моей собственной воле... Я имел небольшую службишку — только-только для пропитания... И... больше ничего!..

— Но ведь вы писали...

— О, я очень много писал, больше прежнего... Но тут-то и сказалось больше всего мое новое правило. *Я писал для себя*, для удобства своей мысли... И... совсем не дорожил написанным. Если попадало в печать, — хорошо; не попадало — тоже хорошо! Каждую минуту с тех пор я готов отдать все свои записки и рукописи первому встречному и — не только не заплачу, но еще и обрадуюсь возможности продемонстрировать (перед самим собою, конечно) свою полную свободу от всяких вещей...

— А писать вы любите?

— Да, Елена! Я люблю писать, потому что при помощи словесного выражения мысль получает систему, законченность, оттенки; она равномерно растет и созревает, в то время как предоставленная самой себе она обрывается, скачет, забывается, повторяется, смешивается... Писание дисциплинирует мысль и дает ей форму... А что такое бытие и мысль без формы?..

— Милый, милый *Nikolas!*.. И вы очень страдали?

— Нет, дорогая! Я совсем не страдал!.. Страдают — мещане... слабые...

— Верно, верно! — возбужденно подтвердила Елена.

— Удалиться в изгнание, корчить из себя Байрона, иметь страдающий и скорбный вид... Нет! Это для меня было слишком красиво, слишком наивно... Я жил (да и живу) скромным мещанином, и никто не знает, что я мыслю и какие чувства волнуются во мне, когда я ночью, один, в своей одинокой комнате остаюсь с своими бумагами и книгами!.. О, как жалко это стремление людей показать свои добродетели и сделать себя и свою жизнь показными и внешне-красивыми! Кто пришел к своему уединению внутренне, тот не станет его афишировать и размалевывать... Ему и на мысль не придет такая забота...

— Ну, остальное я доскажу теперь сама. Вы презираете женщин. Вы презираете мужчин. Брак, по крайней мере, в большинстве случаев, для вас — бездарная и беспомощная сутолока... О, как вы презираете пол, постель, все эти “чувства”, признания, влюбленность, ревность, всю эту погоню за благоустройством жизни, весь этот быт, эти кухни, клозеты, столовые!.. Вы никогда не плачете... Вы тоже пятнадцать лет не плакали, и всякие слезы вам противны. Вы тоже больше пятнадцати лет не касались ни одной женщины, и ни одну не допустили к себе, хотя это-то, конечно, и возбуждает женщин, и, конечно, для вас были сотни “подходящих” случаев... Вы — гордый отшельник, служитель мысли и понимания, мудрец музыкальных откровений, вы — суровый и нежный, вы — скорбный и ласковый!..

— Позвольте, позвольте... Дайте, я тоже, по вашему примеру, сформулирую свою житейскую мудрость в трех тезисах...

— Я знаю! Я уже знаю! Второй тезис у нас общий, абсолютно общий, только вот насчет понимания...

— Да. С понимания надо начинать... Впрочем, — им же надо и кончить!.. Что ни к чему не надо стремиться, — это тоже, конечно, мой тезис. Но я выразил бы его иначе. Я стремлюсь *к пониманию!* И даже не стремлюсь, а понимание само нарождается и растет, и оно-то и есть сама собою данная жизненная цель. Конечно, не в смысле разумности цель, не в смысле полной оправданности... О, нет! Но ведь и всякое безумие есть нечто, оно ведь — безумие, не иное что. А это значит, что и ему свойственна своя логика, логика безумия. Вся жизнь и все бытие есть сумасбродство, но сумасбродство есть именно сумасбродство, а не что-нибудь иное. Следовательно, оно есть и метод. Понимание этой логики жизни и этого метода бытия и есть мое понимание. Это есть мое утешение. И это — мое спокойствие. Потому в своем первом тезисе я бы отбросил указание на запрет стремлений, а только бы оставил факт сумасбродства мира и

факт своего спокойствия. Вот он мой — *первый* тезис: все бессмысленно, но — я спокоен!

— Милый, ясный, страдающий... — влюбленно и мечтательно шептала Елена, не отрывая своей головы от моего плеча и мягко пожимая мою руку. — Говори дальше, радость моя, счастье мое...

— Ну, *второй* тезис известен, — продолжал я громко, как ни в чем не бывало. — Тут я с вами согласен даже буквально. Действительно, лучше не скажешь: ни к кому и ни к чему в жизни не привязывайся и никого и ничто не называй своим.

Лучше нельзя сказать... И вот теперь — третье правило. Вы там — насчет распятия и пустыни... Ну, пустыня, это — так... Насчет же распятия, пожалуй, тоже это будет для меня слишком красиво. С меня достаточно и простого удущения... Такие люди, как вы или я, всегда будут страдать от других. Но вы противопоставляете людской злобе терпение, я же... пожалуй, только понимание. Вы мстите своим терпением, я же мщу своим пониманием... Когда распинают вас, то боятся вашего монашества. Когда же душат меня, то боятся собственного разоблачения. Потому вот мой *третий* тезис: душите меня, люди, но я мщу вам тем, что вас до конца и насквозь понимаю!

Я замолчал.

А Елена прижалась ко мне уже всем телом и счастливо покоилась на моей груди, как бы в сладком забытьи нашептывая нежные речи:

— Ласковый, нежный, глубокий... Люблю тебя, сурового, скорбного, замученного... Ты мое счастье... Ты моя юность... Мальчик мой бедный... Ребенок ты ласковый, печальный...

И она тихо и ласково гладила меня по голове, по лицу и по рукам, прижимаясь лицом к моему лицу и целуя как-то тихо, светло, устало — совсем-совсем по-матерински.

Я молчал, но и у меня в жилах начинала разливаться какая-то благостная тишина, какое-то чудное умиротворение, и в душе водворялась мягкая и нежная, усталая и печальная, но светлая и счастливая улыбка...

— Милая Люся... Откуда ты такая светлая... и такая чистая?... Мать ли это родная, невеста ли моя долгожданная, ребенок ли ясный, улыбчивый?..

— Приди, приди ко мне, — счастливо шептала Елена, — приди ко мне, усталый путник, приди, замученный, ласковый, одинокий скиталец... Войди в мою хижину, согрей у очага свои холодные руки, войди, отдохни... Моя радость... Моя тихая, небесная радость... Мое сердце... Ты — мое сердце... обнаженное...

— Люся, милая-милая Люся, — вторил я, погружаясь в море ласки и счастья, — ты — мой приют, мое пристанище. Ты моя надежда... люблю тебя, распятую, тебя, пустынную... Видение ты, сладкое и чудное видение... Тебя, распятую инокиню в пустыне человеческого Содома, тебя, мудрую, тебя, знающую, тебя, понимающую, — сниму я с креста твоего. Тебя приглублю и обласкаю, как и ты согрела меня в своей священной хижине... Прими и мое страдание, любимая, возьми и меня в твою скорбь, в твою постоянную скорбь и тоску о лучшей жизни. Счастье мое... весна моя... Тихий и ясный восход... И — закат, усталый, печальный и светлый закат!..

Сейчас мы были с Еленой совсем другие. Уже я не рыдал, и она не хохотала; уже я не шептал страстную и клокочущую лирику, и она не декламировала романтическую трагедию. Было так легко и светло, так безмятежно и ласкою... Было устало и тихо, улыбчиво и прощально... Было воздушно. В душе пела наивная музыка Шуберта. Каким-то *B-dur'*ым¹ трио окрасилась вся моя жизнь. Я чувствовал в душе: эту 1-ю часть с ее бодрой, пылкой, жизнерадостно-молодой порывистостью, которая чередуется там с нежной и мягкой певучестью, соединяясь в милую, изящную, энергично-молодую, юношескую музыку; эту 2-ю часть с ее искренней, душевной, светлой и страстной (одновременно) влюбленностью, счастливой, горячей и искренней юностью; эту 3-ю часть, где тоже весело, игриво, кокетливо и живо стремится юная жизнь, эту 4-ю часть, где живая, оживленная торжественность перемешана с игривым кокетливым бисером счастья. Но это был еще и какой-то грустный, печальный Шуберт. Примешивалось что-то субтильное и хрупкое, слабо-дышащее, как в Сонатине Равеля, хотя и без того кружения на месте в условиях субстанциальной неподвижности, которое дано в ее конце.

Так ворковали мы не менее часу, как вдруг Елена спохватилась, резко отодвинулась от меня, разнявшись и телом, и руками со мною, мгновение помолчала и потом, поднявши правую руку вверх, как бы о чем-то догадываясь или внезапно разгадывая какой-то секрет, весело и громко сказала:

— Мсье Вершинин!.. Мсье Вершинин!.. Да вы понимаете, что мы с вами делаем?... Вы понимаете, что мы обнимаемся и объясняем в любви?..

Действительно, только сейчас я вспомнил, кто такое она и что такое я и зачем я к ней пришел (а пришел я, конечно, говорить на музыкальные темы) и где мы сейчас находимся (в номере гостиницы!).

— Мсье Вершинин!.. — продолжала она весело и громко. — Ведь мы же с вами презираем мужчин и женщин, презираем любовь, мы — отшельники, странники!.. Ну, хорошие же пустытники!..

— Дорогая Елена... — с улыбкой смущения говорил я... — И ведь еще “пятнадцать лет” вспомните... Пятнадцать лет вы не знали мужчин, а я — женщин...

— Великолепно! Замечательно! — ясно и весело вскричала Елена, ударя в ладони. — Великолепно! Так и должно быть! За пятнадцать лет впервые вы нашли женщину с идеей, а я мужчину с идеей!.. За пятнадцать лет впервые вы нашли настоящее общение, а я — настоящее уединение и сосредоточение!.. Разве это не замечательно? Это — не нарушение нашей теории, а подтверждение ее! Это замечательно, что мы, проклиная любовь, сами к ней незаметно пришли... Мсье Вершинин! Я всю жизнь искала уединения и ради него отдалась на распятие общественной жизни; а вы целую жизнь искали общения с людьми и понимания их и ради этого отделились от одиночества и отшельничеству... Ну... так обнимемся же еще раз — уже не по слепому влечению полов, а по сознательному выбору и решению... Ну, поцелуйте меня, мсье Вершинин, — весело крикнула она, энергично протягивая мне обе руки.

Она была, в сущности, веселая, энергичная, общительная и жизнерадостная женщина. В ней билась здоровая и

¹ си-бемоль-мажорным.

горячая романская кровь, и она была живая, восприимчивая и деятельно-веселая, неунывающая француженка. И только жизнь надломилась ее природный оптимизм и воспитала в ней ряд тяжелых идей, которые и придали ей ту гордую и непрístupную, безрадостную внешность (это давно уже стало, конечно, не только внешностью), которой она поражала всех на своих концертах.

— Вина! Хочу вина! — громко и весело заговорила она после “сознательных” объятий, вставая с дивана. — Сегодня первый счастливый день за пятнадцать лет... Нет, не за пятнадцать — за восемнадцать лет, за всю жизнь, за все томительные и безотрадные тридцать восемь лет...

И она позвонила официанту.

— Сегодня радость у меня, мсье Вершинин!.. Сегодня — счастье!.. Да и у вас, мой друг, было невесело... А?

— Дорогая Елена!.. Сегодня и я хочу вина! Пусть в этот час, в этот первый радостный час за всю мою жизнь, я почувствую, что значит настоящее общение и взаимопонимание, которому служу долгие годы! Пусть за долгую жизнь эти первые счастливые объятия будут с тобою, моя великая, моя гениальная Елена! Выпьем за пустыню, за одиночество, за понимание, за общение и — за любовь!

Вошел лакей, которому Елена заказала ужин, красное вино и фрукты.

Пробило двенадцать часов ночи.

— Елена, — сказал я, — а нашему счастью уже пять часов. Ты знаешь, что я у тебя сижу уже больше пяти часов?

— И эти пять часов, мой друг, дороже мне всей жизни, всей этой надрывной жизни в людской пустыне!..

Лакей быстро принес два прибора, бутылку дорогого красного вина, закуску, горячий, дымящийся и ароматный ужин, кофе и фрукты.

— Ну, дружище, — сказала она, дружески ударяя меня по плечу, как бывает среди кутящих студентов, — союз заключен, союз пустыни и понимания! Выпьем за этот счастливый день, когда судьба решила впервые улыбнуться нам. Выпьем за счастье, за любовь!

Она — в качестве хозяйки — налила себе и мне по рюмке вина, и мы чокнулись.

— За пустыню! — крикнул я.

— За понимание! — с восторгом отвечала она.

— За мирской монастырь!

— За общение! И мы выпили!..

За ужином Елена непрестанно весело и беззаботно болтала и щебетала, рассказывала массу разных случаев из своей музыкальной жизни, в каком-то счастливом и светлом упоении забывая все тяжелые стороны своих тридцати восьми лет. Много рассказывал и я.

Только около двух часов ночи лакей унес последнюю посуду из номера Елены.

После ужина мы опять сели на диван.

— И вот... — вдруг заговорила Елена серьезным тоном и не смотря прямо мне в глаза. — И вот...

Я с тревогой посмотрел на нее и несколько мгновений ничего не понимал.

Ее лицо изменилось, нахмурилось, стало холодным — вроде того, как это бывает у нее на концертах; и лоб принял не по-женски суровое, мыслящее выражение.

Но тут она взглянула на меня своими густо-голубыми печальными глазами, и — я все понял! В одно мгновение я все, все понял!

— Елена, — прошептал я, — Елена... Ты хочешь сказать...

— Да! — тихо шептала она. — Да! Ты понял... Ты не мог не понять...

— Елена! Я знаю: мы... мы должны расстаться... и расстаться навсегда...

— Мой ласковый, мой нежный... — с слабой улыбкой придвинулась ко мне Елена. — Пустыня зовет меня... Тебя зовет... понимание... Не рождены мы для любви... Не рождены для брака... После пятнадцати лет монастыря, и твоего, и моего, — какой же может быть брак?! Ведь это же не пятнадцать лет... Это целую жизнь, лучшую, сильную, самую сильную и цветущую часть жизни мы отдали с тобой идее пустыни... Так неужели же теперь, старея, мы изменим себе и перестанем презирать любовь и брак, и семью, и все эти... “чувства”?..

— Милая, милая девочка, — с нежностью говорил я, обнимая ее. — К сожалению... к сожалению, ты права! Разве было бы не смешно, если бы мы... поженились? Разве это не было бы крахом тяжелого предприятия всей нашей жизни? Разве можно любить и вступать в брак, имея по три таких правила жизни, которые мы с тобой сегодня формулировали?

— Да, это так, *Nikolas!*.. Это — так. Но... сейчас только третий час ночи. До рассвета еще несколько часов... Я знаю, что такая встреча — единственная за всю жизнь, и твою, и мою. Я хочу, чтобы эта ночь, вся эта ночь была нашей... Пусть, покамест мы не расстались, покамест мы не разошлись по своим пустыням, эти часы, эти счастливые часы будут нашими, будут часами светлого и беспечного счастья!

Я с восторгом протянул к ней обе руки, а она с прежней веселостью, с прежней счастливой беззаботностью закричала:

— Хочу целоваться с тобой, *Nikolas!*.. Целоваться, обниматься хочу с тобой!.. Сегодня Елена Дориак счастлива! Сегодня Елена Дориак любит!..

И она упала в мои объятия.

Наступила минута, когда поцелуям и объятиям не было и счета.

О, счастливые, незабываемые минуты, которые подарила мне Елена Дориак!.. Такая ласковая, нежно ласкающая безмятежность, такая светлая, блаженная беспечность и беспорывность бывает только один раз в жизни!

В этой женщине был неиссякаемый источник благодущия, веселой, радостной энергии жизни, вечно улыбкистой и вечно расцветающей весны, какого-то ровного и безмятежного счастья, какой-то умиленной тишины сердечных восторгов и детской, чистой, наивной простоты. И — как изуродовала жизнь эту любящую, эту самоотверженную, эту

вечно готовую к подвигу душу! Как она загнала этот чистый родник счастья и радости в недостижимые глубины души, как она жестоко и бессердечно заделала все выходы и проходы его наружу, каким наружным морозом и льдом покрыла она цветущую и счастливую красоту молодых вдохновений, эту юную, всегда гениальную душу, это вечно живое и нежно-тревожное море ласки, молитв и любви!..

Только сейчас, в эту действительно первую, в эту единственную ночь из всей своей жизни Елена проявила себя в своем существе; только в эту единственную ночь родник ее жизни, ее любви, родник, можно сказать, самой сущности ее — пробился наружу и забил прекрасным фонтаном... Но тут же и ясно стало: роднику суждено уйти навеки опять в свою глубину...

Поздно!.. Поздно забил священный родник... И — как больно, как отчетливо-просто, как беспощадно-ясно почувствовали мы это оба!

Поздно!.. Не вернуть весны. Не вернуть молодости. Юных сил не вернуть!..

Тут-то и стало ясно, как мы с ней очерствели, огрубели... После целой жизни в пустыне — грубеет и чернеет кожа на теле, и отвыкаешь от той примитивной культуры, которую соблюдает даже всякий простой человек в обыкновенном обществе. Отвыкаешь умываться, спать на чистом, иметь в порядке вещи, даже просто что бы то ни было иметь; отвыкаешь застегивать рубашку и вообще прилично одеваться. И душа, и тело покрываются мозолями... И черствеешь душой и телом, становишься похожим на те черные камни, на те шиферные балки, в которых живешь в пустыне.

Милая, милая девочка! Пустыня жизни давно поглотила нас! Мы спим с тобой под заборами; спим без подушек, а только на собственных же руках; спим на голых досках, на камнях, на соломе. Мы едим с тобой невареное, одеваемся в клочья, живем подаянием; и скалы, овраги, пещеры — вот наш приют, вот наш родительский дом!

Никогда в нас не было с тобой этого... не знаю, как и сказать... ну, вот того, что есть в квинтете Танеева (*op.* 30). Помните, там в 1-й части эту очень сердитую волю, это настойчивое и упорное волеизлияние, доходящее до подлинного гнева? Помните, там в 3-й части тоже весьма внушительные и, я бы сказал, авторитетные ходы вниз на фортепиано, альте и виолончели и повелительные фортепианные аккорды, главенствующие над всем квинтетом? А помните 4-ю часть, где все очень сердито, сухо, витиевато, холодно, гневно, где кто-то чем-то недоволен, где рассерженный и неумолимый рассудок переходит в целое торжество, правда, без малейшей непосредственности и захвата, без всякого горячего восторга, но зато с настоящим электрическим подъемом, в котором все бездушно, но глубоко, сухо, но содержательно, рассудочно, но замысловато-ажурно.

Да! Не было в нас с Еленой этой деловой и твердой воли. Нам скучно было устраиваться в жизни. В нас совсем не было никакого, так сказать, механизма жизнеустройства. И мы предпочли презирать жизнь, а не строить ее.

Могли ли мы с Еленой, сойдясь случайно после целой жизни таких настроений, такого быта, таких идей, — могли ли мы с Еленой объединить свою судьбу, пожениться, создать семью или хотя бы просто любовь?

Эх, наивные вы люди, господа! Нечего вам и объяснять это, если вы сами не понимаете.

Ваше мнение, конечно, известно: вы просто скажете, что мы не любим друг друга, потому и не вступили в брак...

Ну, и что же? Вы думаете, я буду протестовать? Вы думаете, я утверждаю, что пустынный после пятнадцати лет одиночества сможет любить и вступать в брак?..

Да, вы правы... Мы с Еленой не могли полюбить друг друга... Но не потому, что мы не способны любить (это вы, женатые, неспособны любить), а потому, что мы — аскеты и отшельники... И не просто мы не полюбили друг друга, а мы — заглянули друг другу в бездны наших душ и — нашли там такое счастье, такую взаимную любовь, такой мир и свет, что перед этим потускнела вся эмпирия, потускнели эти слова, этот быт, потускнели мы сами со всей очерствелой корой своих душ и сердец, не говоря уже о всех прочих людях, занятиях и всей жизни!

Вы, конечно, думаете, что любовь есть вполне достойное основание для брака. Я этого никак не могу думать. Между любовью и браком гораздо сложнее отношение. Я думаю, что для брака возможны и другие основания и самая связь этих двух областей совсем-совсем не так очевидна. Улица думает так: “Любовь? Ага! Значит — свадьба!” И не только улица так думает. Без преувеличения можно сказать, что так думают *все*. Ну, а мы вот с Еленой думаем иначе. *Можно* так полюбить, что и самый брак окажется тщетой и суетой перед глубинным таинством любви.

Да! Мы с Еленой слишком полюбили друг друга, чтобы пожениться и жить вместе! Мы слишком узнали нашу общую тайну, слишком ощутили свою вечную связь — чтобы еще продолжать встречаться и внешне общаться, не говоря уже о совместной жизни!

Непонятно? Странно? Может быть, уродливо? О, я и не сомневаюсь, что это вы так представляете! Вы тут ничего не знаете, у вас нет и такого опыта. А вот Елена поняла! Мы оба поняли это с нею в одну и ту же минуту нашего счастья, и только несколькими секундами она опередила меня!

Вам это непонятно... Ну, а я мщу вам своим обычным оружием: *я понимаю*, почему вам это непонятно. А вы не понимаете этого; и вам страшновато, что я вас могу разоблачить.

Но — не беспокойтесь. Я не буду вас разоблачать... С меня вполне достаточно одного того, что *я могу* вас разоблачить!..

Однако, вернусь к Елене.

— *Nicolas*, — устало и блаженно говорила она, — *Nicolas*, еще несколько часов! Расскажи мне еще... Мудрец!.. Расскажи мне еще из твоих одиноких откровений...

Знаешь, что? Расскажи мне что-нибудь еще о музыке, а я тебе сыграю... На прощанье, на целую вечность!..

— Да! Я тебе расскажу о музыке, — тут мне пришла в голову одна идея, — и ты мне сыграешь... Но только, кажется, ты сейчас ошиблась... В первый раз за всю эту ночь ты ошиблась. Я сейчас скажу тебе о музыке, но — не ради ее восхваления, как всегда, а ради ее... принижения... Вот, ты делаешь удивленные глаза. Но — ты поймешь, сейчас, сейчас поймешь... Ты не можешь не понять. Это ведь тоже твоя идея...

— Милый, у нас нет с тобой разных идей... Все идеи наши с тобою — общие! — вставила она.

— Так слушай!

Музыка нас уводит от жизни и бытия! Музыку мы любим тогда, когда жизнь скучна, сера и неинтересна. Настоящая, полная жизнь не знает музыки, ибо она сама есть музыка, сама есть жизнь как музыка, бытие — как искусство. Музыка не есть творчество жизни; музыка есть творчество чистых форм; музыка для жизни слишком теоретична, слишком созерцательна. Когда творится сама жизнь, уже не может быть дифференцированной музыки. Вот почему изощренная музыка мешает богослужению. Богослужение есть воздымание всего человеческого существа в горний мир, а музыка — оставляет существо человека вполне на земле и только приводит в состояние игры его чувства и созерцания. Вот почему изощренная музыка вредна для военного дела, которому нужен только примитивный марш, походный или похоронный. Военное дело воспитывает реальную мощь солдата, а не его изолированные чувства и мысли; и — музыка может здесь играть только третьестепенную роль — подбадривать, увеселять и слегка украшать. Вот почему развитая музыка вредна для всякого реального жизненного дела. Она делает его несерьезным, нескладным, ненадежным.

— Милый мой, — шептала Елена, — говори дальше, дальше!..

— И вот, наконец, почему, — продолжал я, — мой милый друг, музыка не нужна любви, не нужна счастью, не нужна полной и настоящей жизни! Мы идем в концерт потому, что мы — несчастливы. Мы берем в руки инструменты потому, что наша жизнь — невеселая, мелкая, скучная суета, а ведь так хочется жизни, так хочется любви, красоты, счастья, утешения! Мы предаемся музыке потому, что мы не любим. Любовь не знает музыки, потому что она сама есть музыка, но — уже не та, только выдуманная, только исполненная на инструменте, но чисто жизненная музыка, сама жизнь и бытие — как музыка! Любовь не нуждается в музыке, потому что она есть творчество самой жизни, она есть онтологическое взаимодействие и слияние душ, и тут — уже своя собственная, более глубокая, более ответственная и потому более интересная музыка. Жизнь гораздо музыкальнее, чем сама музыка. Жизнь гораздо более фантастична, гораздо более причудлива по своим аккордам, гармониям, динамике, темпам, чем все Бетховены, Вагнеры и Скрябины. Жизнь мудрее музыки. Если бы человек знал настоящее счастье, он никогда не был бы музыкантом. Он сам был бы произведением искусства. За одно мгновение истинного счастья мы отдадим все наши концерты, партитуры, инструменты. Самая маленькая жизненная ценность, если она только на самом деле жизненная, а не созерцательная только, не чувствуемая только; самая маленькая жизненная ценность — больше, нужнее, глубже, красивее, прекраснее огромных циклопических созданий Баха и Вагнера. Что такое все эти так называемые музыкальные пьесы, все эти так называемые концерты? Это — только застывшие *кочки* красоты, вырванные из живой ткани жизни и нанесенные на мертвую бумагу. Это — только ничтожные секунды и минуты в жизни композитора, исполнителя и слушателя, выхваченные из живых и трепетных бездн бытия и оцепеневшие в виде мертвых, технических схем!

Елена молчала в ответ на это и только как-то блаженно и бездумно улыбалась.

— Вот почему, — говорил я, — немзыкальна древность, немзыкально Средневековье. Когда есть икона, тогда отсутствует симфония. Тогда есть только восемь гласов “Господи, возвах” да унисонное “Господи, помилуй!” Только в Новое время, когда человек ушел от бытия и погрузился в себя, началась настоящая самоцельная музыка. И вот почему так глубоки и выразительны Бах и Бетховен: потому что это есть стихия покинутости человека на самого себя и полный отрыв от абсолютных истоков жизни. Бетховен существует только в самое неонтологическое время немецкого идеализма. Вагнер существует только в самый ничтожно-субъективный, мелкобуржуазный период истории. И Скрябин, это — продукт самой развинченной, самой слабонервной, самой неустроенной и истеричной интеллигенции. Все это — потому, что человек глубоко несчастлив! Нужда, одиночество, серость, ничтожество жизни, зашнурованность и оторванность субъекта от бытия и живого, ясного, уверенного счастья есть лоно, источник, причина и жизненный фермент всего музыкального искусства!

Дайте один глоток свежего воздуха, одну светлую улыбку любви, один намек на подлинную жизнь, и — вся музыка разлетается прахом. Смешны и наивны эти традиционные громкие аккорды в конце музыкальных пьес, долженствующие уверить нас в том, что счастье действительно достигнуто и поставленная задача выполнена, в то время как всем хорошо известно, что никогда ничего нельзя достигнуть и выполнить и что в жизни ничто никогда ничем не кончается. Смешны и наивны эти титанические взлеты Бетховена, Вагнера и Скрябина. Когда летит Скрябин с своим экстазом в бесконечность небес, — кажется, что полет простого мотылька над самой травой на лугу гораздо героичнее, жизненнее, экстатичнее, смелее, интереснее. Да, — потому что мотылек — это святая действительность, а “Поэма экстаза” — это выдумка, теория, самопокинутость субъекта, лишенного объективного удовлетворения и связи с живым бытием. Мотылек — это жизнь, и его полет среди цветов и солнца, это — счастье. А “Поэма экстаза” — это головное изобретение объективно опустошенного субъекта и внутреннее воспаление его, саморазгорячение и — смятение. Правду кто-то сказал о Скрябинском “Прометее”, что это не столько “поэма огня” (как гласит ее подзаголовок), сколько поэма электричества. Стихийность этого огня весьма подозрительна; она есть только простая распределительная доска партитуры, то есть пустой механизм. И его объективная реальность тоже весьма подозрительна; она есть только рациональная формула элементарного учебника физики.

Нельзя молиться, любить, творить и жить под музыку, ибо и молитва, и любовь, и творчество, и сама жизнь суть своя собственная музыка, не терпящая никакой другой. Но можно фальсифицировать молитву и любовь, можно придумать суррогат творчества и жизни; можно заменить эту теплоту, трепет и нервы живой жизни их полным воспроизведением: и вот тогда-то начинается колоссальная роль музыки, тогда и становится она — она, эта мертвая бумага, эти дерево и медь, эти неуклюжие пальцы человека, — тогда и превращается она в молитву, и в жизнь, и в творчество, и даже в любовь!

Тюрьма и пустыня скованного духа, распятие и удушение живой души — вот источник музыки и причина всех музыкальных откровений. Улучшите жизнь, преобразите, освободите, осчастливьте человека, и — о Бетховене будут вспоминать не больше, чем о лягушках, квакающих в болоте.

Жизнь и музыка, счастье и музыка, любовь и музыка — несовместимы!

Елена была вся внимание. И когда я кончил, она с своей обычной (в эту ночь) простотой и ясностью сказала:

— А знаешь? Первое, с чего я бы начала, если бы сошлась с тобой, это — прекратила бы давать концерты!..

— Несомненно! Несомненно так! Наша музыка превратилась бы только в красивый отдых, только в изящный марш, под который бы струилось и пело наше счастье... Она перестала бы нас интересовать как таковая. И мы уже не ценили бы ее так, как сейчас. Да ты и не могла бы так играть — уже по одному тому, что ты не играла бы и сотой доли того, что тебе приходится теперь... Ты потеряла бы интерес к технике, к постоянной музыкальной гигиене своих пальцев, к внимательному выбору старой и новой литературы... У тебя стали бы заплетаться пальцы, и твои арпеджио потеряли бы всю свою замечательную выразительность. Словом, ты была бы счастлива и тебе было бы не до музыки.

— С этим, конечно, невозможно не согласиться... Я сама тебе говорила, что для меня музыка это та же суতোлка и суета...

— Я бы не сказал, что это суета. Для меня это метод познания и понимания. Правда, больше того, она для меня совершенное ничто. Но музыка есть способ получать откровения, хотя бы она и не преображала жизнь и была бы только игрой воображения. Ну, что такое наши большие концерты, когда несколько часов гремит оркестр численностью больше ста человек, когда вдохновляется солист, убивший на свою скрипку или фортепиано целую жизнь, когда неистовствует в своей священной пляске дирижер, когда тысячная толпа народа, затаив дыхание, следит за каждым тактом симфонии, за каждым аккордом, за каждой нотой? Что это такое? Да ничто! Только воображение! Мотылек хоть на несколько аршин, да поднялся от земли и вдыхает весну, солнце и жизнь. А этот концерт объединил тысячи человек, которые не только не поднимаются от земли, не только не вдыхают весны, неба и солнца, но в эти часы как раз сознательно ушли от всякой реальной жизни, оставили ее на произвол судьбы и погрузились только в чистейшую фикцию, в чистое субъективное воображение и в беспредметные чувства. Пусть она идет, эта жизнь, как хочет, а я вот наслаждаюсь Бетховенскими вариациями, и — крышка!

Ты скажешь, что тут, конечно, *физически* человек остается в таком неестественном, изолированном, подчеркнуто нежизненном положении, сидя неподвижно в кресле и слушая несуществующую действительность в организованном порядке заранее назначенного и продуманного концерта, но что *духовно* человек тут, наоборот, возвышается в неизмеримые выси, уходит в самую бесконечность, и что это-то и есть его настоящая жизнь. На это скажу так. Бесспорно, что музыка есть возвышение и парение духа и даже уход в бесконечность. Но — *какого* духа? Всего ли духа, самой ли *субстанции* духа, когда преображается действительно все существо человека с его душой и телом, или только той стороны духа, которая несколько не мешает ему оставаться здесь, на земле, со всеми своими пороками, грехами, со всеми привычками, слабостями, страданиями и, в конце концов, с полным уничтожением в смерти? Конечно, последнее! Конечно, музыка есть только голое возвышение и парение в своем *воображении*, в своих эстетических способностях, только полет фантазии, вполне нейтральный ко всей нашей обыденной жизни. После концерта многие с большим удовольствием идут в ресторан, в трактир и даже заходят в публичный дом, это — после ухода в бесконечность, после взлета в божественный мир, после экстазов! Да, может быть, только религия берет на себя эти функции возведения в высший мир, но она-то как раз насчет этого рассуждает очень скромно и дает весьма осторожные и умеренные, весьма предостерегающие и основанные на строгой последовательности и дисциплине советы. Музыка же — никуда нас не возводит. Это — стихия только воображения, хотя и очень насыщенного!

В особенности показательными эти взлеты у Бетховена, Вагнера, Листа и Скрябина, весь этот музыкальный титанизм, демонизм и сатанизм. Ничего тут нет титанического и страшного. Это — только приятно и забавно, и — больше ничего! Право, на меня гораздо сильнее действует конец какой-нибудь “Патетической” Чайковского, где, вместо традиционного взлета и полета с громкими, шикарными заключительными аккордами, заставляющими чесать в ухе, мы находим мрачное пианиссимо струнных, как бы бессильно и в то же время спазматически болезненно умирающих в своем застывающем после бесплодных рыданий пиччатато. Много ли ты найдешь таких окончаний в симфониях или в камерной музыке? Я вот сейчас только и помню Шестую Чайковского, да еще такой же, совершенно аналогичный конец его же Трио. Сразу и не вспомнишь другой пример. А обычно — к концу все больше и больше гудят, кричат, бьют, орут. Я тебе прямо скажу: не люблю я четвертую часть Девятой Бетховена. Этот хор, эти четыре солиста, этот оркестр и вся эта Шиллеровская ода “К радости”, все это — такой крик, такая суматоха, такое смятение, такие потуги обязательно выйти из себя, а, главное, такой крик, вопль... Орут, орут, и все на самых высоких тонах... Насколько же сложнее, содержательнее, глубже, трагичнее и величественнее первая часть, где вместо этого смятения и крика действительно дано видение, трагическое видение живого бытия.

Впрочем, я сейчас хотел тебе возражать и доказывать, что музыка не есть просто суета, но что это еще и метод познания... А вышло совсем наоборот...

— И суета, и метод! Ты только подумай: это ведь одно и то же... Почему суета? Да потому что — только метод, а и не больше. А почему метод? Да потому что — только суета и не больше того...

— Верно! — громко и энергично сказал я. — Верно сказано! Для нас тут нет вопроса. Но...

— Но... хочешь ты сказать... счастье наше с тобой мимолетно...

— И потому, хочу я сказать, ты будешь сейчас играть.

— Да, *Nikolas*, я буду сейчас играть. Хочу сейчас играть! Счастью нашему скоро конец, и потому оно — “источник музыки”. Хочу играть! В последний раз, в последний раз буду я играть для тебя, и — вечность покроет своими волнами наш зыбкий остров любви!

— Но только сейчас не хочется трагедии, не хочется воплей... В эти остающиеся часы хочется чего-то безоблачного, ясного, светлого — ну, а если большого и сложного, то не жгучего, не клокочущего, не мрачно-огненного, а чего-то открытого, смелого, торжественного, не надрывного...

— Я сейчас тебе сыграю и то, и это. Вот тебе первое — безоблачное и ясное — пусть, скажешь, наивное, но зато счастливое и безмятежное.

И она взяла несколько аккордов.

— Что это? — вскричал я. — *A-dur*'ная¹ Моцарта?

— Да! Соната *A-dur* Моцарта! Мы опять обнялись.

— Милая, милая Елена, как сейчас хочется Моцарта! О, играй, играй, моя божественная Елена! Играй, мое счастье и моя мимолетная, погибшая любовь. Играй!..

Елена прекрасно исполнила первую часть с вариациями, потом менуэт и заключительную *Alla turca*². Было три часа ночи.

Блаженная легкая радость и наивное веселие шевелились в сердце, мягко и нежно разливались вместе с кровью по жилам, и — становилось так беззаботно и беспечно, так изящно, шаловливо и юно! Вариации первой части нежно ласкали разбитое сердце, целебным пластырем ложились на коченеющую душу, и — я начинал чувствовать себя молодым, веселым, отзывчивым, способным на все возвышенное и красивое, наивным и чистым! Вспоминались грезы ранней юности, эти чистые и наивно-энергичные надежды, эта завораживающая и манящая даль неизвестности целой жизни, когда все, все еще впереди, когда в молодом теле бурлят еще не совсем даже пробудившиеся силы, когда все молодо, нежно, благоуханно, весенне...

Однако, странно: как раз во время этой сонаты я вдруг опять почувствовал, как тогда, рыдая на груди у хохотавшей Елены, опять почувствовал эти вечно неожиданные, мутно-огненные зовы, эти вечно молодые, неудержимые мужские импульсы...

Что это? Откуда? Откуда среди этого безоблачного и наивного Моцарта? Зачем эта... сложность... Мы с Еленой ведь уже огрубели... Пустынники — и...

После *A-dur*'ной сонаты Моцарта она еще много играла из Моцарта.

А потом сказала:

— Ну, а вот теперь и твое “открытое, торжественное, не надрывное” Хочешь *f-moll*'ную³ сонату Брамса? Говорят, что она мне удастся...

— Соната Брамса *f-moll*, *op.* 5! — с радостью крикнул я. — Да ведь тут же пять частей... Сейчас почти четыре часа... Ты измучена...

— Нет, нет, хочу эту сонату!

— Да ведь тут столько грома и шуму!.. Ты вся измучилась...

— Зато — как ты говорил. Открыто, широко, торжественно, величественно, но не трагично, не надрывно, без слез и рыдания, без надлома, свежо, бодро, смело, свободно!..

— И рационально, — сказал я с добродушной иронией.

— Ну, уж ты не можешь! Иррациональность сейчас ругал, а рационально — опять плохо. Чего ж тебе надо, умная ты голова? — сказала Елена, награждая меня шутивым поцелуем, как взрослые целуют детей или гладят щенят.

— Хорошая соната! — сказал я. — И давно я не слышал ее. Играй! Греми эту первую часть, *allegro maestoso*, и греми финал! Пусть это будет громом нашего счастья...

— Эх, *Nikolas!* — вздохнула Елена. — И грому, и счастью — конец!

Елена провела сонату с своим обычным мастерством. Пожалуй, действительно, она ей давалась еще лучше, чем все остальное.

А я сидел около нее — совсем переполненный, чувствуя все больше и больше, что мне не совладать с тем новым, что ощутил за первой сонатой Моцарта.

Когда она кончила эту огромную сонату Брамса и, вся измученная, посмотрела на меня, то я тоже почувствовал себя измученным и не знал, что сейчас случится со мной.

— Ты устал, ты даже как-то дрожишь... — сказала она, внимательно всматриваясь в меня. — Но — нет, еще рано тебе уходить. Еще не отпускаю тебя. Хочу играть. Хочу, чтобы ты слушал... Ради тебя играю так, как никому... Будешь слушать?

Какой-то хитрый женский инстинкт заставлял ее играть все дальше и дальше. И она, видимо, наивно ему отдавалась, совершенно не учитывая никаких возможных последствий.

Милая, родная Елена! При всей твоей жизненной мудрости, при всех твоих философских теориях, — какая ты еще была наивная девочка! В тридцать восемь лет какая у тебя еще неопытность, нетронутость, невинность! Вот что значит пятнадцать лет опыта пустыни, опыта пустынного, самоотверженного аскетизма. Ты наивна как полевой цветок, и — как ты была в эту ночь прекрасна! Как ты была неопытна и незащищенна!

Неизвестны женатому тайны женской души, и замужняя незнакома с мужской красотой. Непонятна и смешна живущему в браке, “законном” или “незаконном”, невинность, играющая около женских губ, и светлая чистота опущенных долу ресниц. Только аскет способен понять женщину и видеть в ее живом и теплом теле красоту и музыку небесных осияний, немерцающую, молитвенно-данную Божию славу. Только многолетние труды отшельника в его уединении, только постоянное воздержание от женщин и всякого житейского утешения, только постоянная борьба за внутренний мир, за благоуханную молитву, за кроткий и блаженный свет тайных душевных глубин, — способны открыть этот смысл женственности, умиленную красоту женского лица, чарующую правду и вечное назначение женской души. Даже у женщин, не охраняющих своего целомудрия, аскет увидит тайную загубленную красоту, полюбит в ней невыполненную женскую задачу, ощутит благоуханные глубины женского сердца. Около гулящей женщины он зарыдает слезами молитвы, слезами радости и будет оваян чудной и светлой тишиной женской души и поцелует руку блудницы, сказавши: “Я грешнее тебя. Помолись обо мне, погибающем!”

¹ ля-мажорная.

² “Турецкий марш”, букв, “по-турецки” (*итал.*).

³ фа-минорную.

И все же — сколь сладка для отшельника женская неопытность и женская незащищенность! Незащищенная — вот подлинное имя для девственницы. Как мила женщина своей хрупкостью и своей открытой наивностью! Вот он, целый сосуд драгоценностей, стоит перед тобою открытым. Бери его, хватай его, проживай его — хватит надолго. И вот — не берет аскет ничего, не касается к драгоценному сосуду, благоговей перед чистыми алмазами духа и только говорит: “Господи, как прекрасна слава Твоя! Прими и меня в славу Твою!” Хватающему эти драгоценности наглой рукой подобен всякий, кто захотел познать женщину чувственно.

Пол — основание бытия. Но пол известен только монаху. Не знает пола и не догадывается о нем ни блудник, ни “законный” супруг. Там, где сливается вместе материнство и девство; там, где любовь и подвиг перестают различаться; там, где жена и невеста, супруга и мать, сестра и родимая дочь есть одно и то же; там, где счастье, любовь, красота и мир — благоуханное, сладчайшее умиротворение молитвенно упоенной души — сливаются с тайным учением и трепетной вестью о мировых зачатиях, о материнском, рождающем лоне бытия и жизни, о радостях необъятных глубин женских очей; там — не место женатым, не место тем, кто знает женщин житейски! Вы, знающие женщин физически, вы, неотшельники, неаскеты, вы — не знаете бытия и жизни, ибо тайну любви и зачатия, тайну рождения вы разменяли на увеселительные приключения, на пустое и жалкое любопытство!

Впрочем...

Впрочем, к чему это я заговорил об отношении аскета к женщине? Ведь я же говорил о том, что во время игры Елены меня стали одолевать — и чем дальше, тем больше — горячие мужские ощущения и что Елена своей игрой — конечно, бессознательно — все больше и больше их возбуждала...

Совсем не аскетическая картина!..

Но — все равно! Не хочется вычеркивать написанного... Пусть будет и не совсем к месту... Вообще, все на свете и всегда — не совсем к месту. Не вычеркивать же всего “света”!

— Хочу играть еще! — безумствовала Елена, отгремевши сонату Брамса. — Хочу играть еще!

Я чувствовал, что вот-вот потеряю самообладание. С трудом отсрочивая с секунды на секунду свое роковое предприятие, я отчетливо знал, что если Елена мне сейчас не поможет, то — все потеряно! Я тогда уже больше ни за что не ответчик!

— Елена, безумная Елена... Оставь!.. Довольно...

— Хочу играть еще! Хочу “Исламея” Балакирева!

— Довольно... Не надо... — лепетал я в жару. — Не играй... Я не могу... Слышишь? Я не могу. Я больше не могу... Не смей больше играть...

Не отвечая ни слова, она заколотила своими сильными пальцами труднейшего Балакиревского “Исламея”, и я не успел разинуть и рта, как полились действительно не трагические, но сумбурно-сказочные и экзотически-фантастические аккорды и ритмы “Исламея”.

Было все потеряно!..

Когда она встала от фортепиано, вся потная и теплая, вся упоенная и сумбурная, вся музыкальная и измученная, и когда поднялся и я, мы молча переплелись руками за спинами друг у друга и начали молча и медленно ходить по комнате...

Я уверен, я глубочайшим образом уверен, что в эту ночь, когда наши души с нею, наши сердца, наши тела и вся наша судьба бились в полный унисон, я уверен, что и эти мои мужские импульсы пришли одновременно с тем, как у нее женские... И я уверен, что одно ощущение охватывало нас, когда мы, поднявшись от рояля, стали сумбурно, пошатываясь, ходить вместе по комнате.

Пройдя раза два с нею вместе по комнате, я стал медленно и постепенно приближать линию наших шагов к двери, которая отделяла нашу комнату от другой, которая могла быть только спальней... Молча, опять-таки молча мы, наконец, проходили у самой двери, и я... остановился.

Елена не смотрела на меня. Она смотрела прямо против себя и, кажется, не наблюдала меня даже боковым зрением.

Я медленно и осторожно, очень-очень деликатно стал увлекать ее дальше, отодвинувши правой рукой портьеру, висевшую над дверью, и толкая самую дверь.

Дверь бесшумно открылась.

Елена слабо сопротивлялась, продолжая смотреть не на меня, а прямо, но все-таки поддавалась.

Втянувши ее в спальню, я заметил царившую там тишину и полумрак. Из окон доносился слабый свет уличных электрических фонарей.

До постели оставалось уже не больше двух шагов, как вдруг Елена проявила внезапную твердость и — остановилась.

В ее теле я чувствовал сразу — и нестерпимое желание, и нерешительность — это когда уже она твердо остановилась на месте.

Тут она, не переставая охватывать меня за спину левой рукой, рывком закрыла свои глаза ладонью правой руки.

И... прошло еще несколько мгновений, после чего она, продолжая закрывать глаза рукою, качнула нерешительно несколько раз головой в знак отрицания, как бы о чем-то горя и колеблясь, и едва слышно прошептала:

— Нет!..

Я не смел, я боялся настаивать.

Прошло еще несколько секунд, и — она отдернула левую руку от моей спины, открыла свои голубые глаза, гордо подняла вверх голову, как бы перед каким-то невидимым врагом, которому она хотела досадить (это был, конечно, не я), она резко, решительно, громким шепотом отрезала:

-Нет!

Я не шелохнулся. Я это знал...

А потом, махнувши правой рукой в направлении дверей, как бы желая сказать, что все равно ничего нельзя сделать, что все равно ничему не поможешь, она решительно и почти повелительно, но все еще шепотом сказала:

— Идите!

Я вышел в первую комнату и понял, что наше счастье окончилось, что мне пора уходить.

Был седьмой час утра. До полного рассвета — зимой — было еще порядочно.

— Прощайте, прощайте, мсье Вершинин, — громко и непринужденно заговорила Елена таким обычным и нормально-вежливым тоном, каким она говорила со мной в самом начале моего визита. — Простите одинокую Елену Дориак, что, может быть, она... не так вас принимала...

И она сама засмеялась.

— Простите и вы меня, дорогая мадам Дориак, за... за все! Простите за все!

— *Nikolas*, — вдруг она опять перешла на интимный тон и зашептала мне на ухо, как будто в номере кто-нибудь присутствовал и мог услышать, — *Nikolas*, а без этого последнего... наше свидание было бы неполным... наша встреча была бы... бессмысленной...

Я понял... О, как мы понимали друг друга в эту великую, в эту священную ночь ее и моей жизни. Она продолжала шептать:

— И все это правильно... Все это так и должно быть... Ты должен был настаивать, а я должна была пресечь... А ты должен был согласиться и принять отказ... Это правильно! Это — чудно! Это — дивно! Это — чудно!

Потом она опять стала говорить громко, весело, как обычному знакомому:

— Итак, мсье Вершинин, не поминайте лихом!

Она сама протянула мне руку, и я вежливо ее поцеловал. Я подошел к вешалке и стал одеваться.

— Можете прийти меня проводить...

— Я думаю, что там будет много провожатых и без меня...

— Ничего, ничего! Приходите. Завтра или, вернее, сегодня, в семь часов вечера на Александровском вокзале...

— Буду. Обязательно буду, — учтиво сказал я, надевая пальто и завязывая кашне.

Когда же я надел и шляпу и хотел сказать еще какое-то последнее вежливое слово на прощание, то вдруг Елена схватила меня за руку и громко, надрывно закричала:

— Нет! Невозможно! Нет!..

И — что же вы думали бы? Она с горячими слезами опять бросилась мне на грудь.

В течение ночи она почти не плакала. Она только зарыдала во время рассказа о смерти своего ребенка. За этим исключением в течение целой ночи она пролила, может быть, только несколько слезинок в разных патетических местах диалога. И — не больше!

Но тут она заплакала подлинными женскими слезами, заплакала надолго, обильно, заплакала без слов, без истерики, ровными и долгими-долгими безутешными слезами... Я обнял ее и не знал, чем помочь.

Наконец сквозь ручьи слез она стала говорить:

— Родной мой, любимый мой, счастье мое... Прости меня... Прости эти слезы... Это слезы слабости... Слезы одинокой стареющей женщины...

Тут уж не выдержал и я.

Я упал перед нею в шубе сразу на оба колена, умоляюще сжимая ладони, и стал громко и страстно к ней звать:

— Елена, счастье мое, радость моя... Прикажи — или нет, не приказывай, а только шевельни головой в знак твоего желания, и — я никогда не уйду отсюда, я буду вечно с тобою, я буду с тобою и ездить и жить, где и как ты захочешь, я буду твоим рабом, твоим послушником, я буду твоим мужем, я буду отцом твоих детей... Только скажи, только скажи одно слово... И я никогда отсюда не уйду. Ты же знаешь: я одинок и мне некуда идти. Никто меня не ждет... Скажи — ну, скажите же только одно слово...

Она продолжала проливать слезы и — только отрицательно качала головой.

— Но для чего же, для чего все это?.. — запальчиво взывал я, — кому, чему эта безумная жертва двух жизней?.. Кому, чему мы приносим в жертву и любовь, и счастье, и всю жизнь! Кому? Я спрашиваю тебя — кому, чему?

Я почти кричал:

— Кому? Чему? Чему эти безумные, нечеловеческие жертвы? Скажи, чему?

Сквозь слезы Елены я услышал ответ... И этот ответ был убийственный и окончательный:

— Пониманию... Жертва эта... понимаю!..

Я поднялся с колен и перестал держать руки в умоляющем положении.

Я поднялся с колен и — еще раз понял, что все действительно кончилось, что час моего счастья с Еленой — пробил.

Она села бессильно на диван и, не отрывая носового платка от плачущих глаз, прошептала:

— Идите!

Я помедлил несколько мгновений.

— Идите! — едва слышно прошептала она опять.

Я подошел к ней и поцеловал ее в голову, в волосы. И сказал:

— Прости, родная, сестра и мать, и вечная невеста моя! Прости, и да хранит тебя Бог!

Она продолжала сидеть и тихо плакать, а я, надевши галоши, быстро удалился из номера.

Было семь часов утра, и уже засерело. Было морозно и тихо.

По крайней мере, часа три я ходил из угла в угол и думал о прошедшей ночи. Ведь это первая такая ночь за всю жизнь!

Уже в одиннадцатом часу утра, наконец, улегся, но долго спать не мог. Около двух я уже проснулся и опять начал ходить из угла в угол, размышляя о происшедшем.

Часов около трех пришла идея: не написать ли прощальное письмо Елене и не передать ли ей его вечером на вокзале?

Не успела эта мысль оформиться, как я уже сидел с пером и бумагой, хотя и не знал я, что и о чем я буду писать.

Сами собой написались следующие строки:

“Елена!

Сонная и вольная, грезящая и светлая, вижу очи твои беспокойные и — хочу поклониться твоей клубящейся силе.

Овеянная радостями тающими, зачатая скорбью миров светлая дева — о, ты, которая взрастила муку миров, славословлю твою тайную светлость.

Единая и великая, душа миров, хочется молиться твоей сладостной муке, твоим страстям сладчайшим.

Эх, разбить бы каменные стены и выйти бы на земной Луг, на поле светозарное, и — возмолиться светлой Безбрежности, вечному Восторгу, деве страстной и огненной, ее светлейшему лику! А душа млеет и пенится, вознесенная сладострастием твоей благодати, и воспевает твою превозданную силу.

Вижу в огне миров очи твои ласковые, и — возносится из темных судеб времени твое прозрачное тело. О, сожги в себе, мглистая сила, и — умру в твоих испепеляющих объятиях!

Буду вечно юн и печален, узнавший брачную близость к тебе, и — воздам трепетанием тела своего тебе жертву вселенскую.

Светлая, ясная, порхающая, теплая кровь моя, ты, чистая, не оставь меня! Вовью в мое всезнающее тело твою душу бездомную, твою нежно-капризную овеянность, — о, ты, неуловимая, непостоянная, тающая и реющая, ты, улыбчивая невеста моя, светлое тело вечности, девочка милая! Вот они — вижу их — твои брачные одежды, из глубины слышу твою материнскую ласку.

О, снизойди дождем и молнией, окутай туманами вечности, великая мать и наставница. Жена предвечная! Ты, чистая, не лишишь меня своего упоения, не отвергнешь касания твоего трепещущего тела, ты, вечно тающая и живая, всезнающая и всемерная мать миров и душа времени!

Память веков, красота существенная, милая и родная, младенец чистоплотный, девочка-царица, невеста и мать, зоркая и всеокая, хочу теплой крови твоей, трепещущей.

Завьюсь и вовьюсь в ожигающие тучи твоих распущенных волос, исчезну во мгле твоей ласки, умру у ног твоих, и будешь вдыхать прах мой, развеянный по твоим владениям, и буду с тобой — одно, о, ты, утро моего восторга, красота светлости моего испуга, чистота подвига духовного!

Н.”

Перед отъездом на вокзал (я хотел приехать за час до отхода поезда) я перечитал это письмо и — сам себя спросил: — Не бред ли это? Не с ума ли я сошел?

Эх, да все мироздание есть бред, и человеческая история есть сплошное сумасбродство, тут же подумал я и — успокоился. Разве не сумасбродство то, что в мире — только одна пустота и холод, и лишь кое-где мерцают отдельные заброшенные точки, по одной на миллиарды километров?! Разве не бред сумасшедшего то, что я родился и живу; то, что я умру; то, что человек вообще как-то живет и мыслит?!

Однако, походивши еще некоторое время по комнате и поразмысливши, я почувствовал опять непреодолимую потребность писать Елене и — решил приписать к своему письму следующее:

“Елена, милая моя девочка!

Прости за это письмо. Сам хорошо понимаю, что оно вызвано слишком богатой, слишком красивой жизнью личности, то есть тем, чего я теперь совсем лишен... Но — не хочу уничтожать это письмо. Пусть душа моя будет насквозь видна тебе — со всеми своими потугами на жизнь и со всем своим бессилием. Богатство музыки и духовное нищенство — живут оба в моей душе. Ты первая все поняла, и ты — все простишь! Люблю тебя, милую, ожесточившуюся, родную и бездомную подругу жизни... Люблю твое худое увядающее тело, твою юную, хотя и замученную душу. И уже не знаю, где тело и где душа... Знаю только, что ты — родная, — первый и последний родной человек и что мы умрем в насильственной и жесточайшей, свирепой разлуке... Прости!

Н.”

Приехавши около шести часов на Александровский вокзал, я уже нашел там Елену, в шикарной котиковой шубе и огромной широкой черной плюшевой шляпе, с багажом и в окружении нескольких мужчин и дам.

Два-три человека были от той концертной организации, которая приглашала ее в Москву. Остальные были из музыкального мира, ближе других познакомившиеся с нею за время ее пребывания в Москве.

Мое присоединение к этой компании провожающих было вполне естественно, и никто не придал этому никакого особенного значения.

Елена, как и следовало ожидать, была сильно бледна — однако, она была довольно весела, мила и непринужденна.

Я вежливо и официально раскланялся и приложился к ручке, на что она сказала обычным тоном с улыбкой:

— Очень рада! Очень рада, мсье Вершинин!

Поговорить с ней о чем-нибудь, конечно, не пришлось, да и о чем было говорить-то! Больше того, что было

сказано за прошлую ночь, трудно было и придумать.

Я улучил минуту и всунул ей в руку свое письмо. И я был премного удивлен, когда через некоторое время она тоже подманила меня, чтобы сунуть мне и свое письмо.

Прозвонили звонки, просвистели паровозы, на платформе остались только провожавшие.

За несколько секунд до отхода поезда я ворвался в вагон, нашел там Елену, уже без всяких провожавших, и с дрожью во всем теле начал ей шептать на ухо:

— Елена! Еще не поздно. Скажи одно слово, и — я твой навеки, твой супруг и защитник... Будем жить вместе в пустыне, и будет радость... И вместе умрем...

Елена опять, как тогда, закрыла глаза ладонью руки, немного повернувши голову в сторону и, видимо, колеблясь... В это мгновение тронулся поезд.

— Любимый, вечный, родной... — шептала она. — Нет! Поздно... Нет!

Я чмокнул ей руку и выбежал на платформу, когда поезд шел еще довольно медленно.

Кое-кто язвительно улыбнулся из провожавших, но — никто не сказал ни слова о моем внезапном визите в поезд к Елене.

Махали платками и шапками...

Поезд медленно исчез вдали.

Красный огонек последнего вагона еще долго виднелся из сизой дали, и я все стоял и стоял, забывши о своих спутниках по провожанию.

Когда я пришел в себя, то оказалось, что около меня уже нет ни одного человека...

“Тем лучше, — подумал я. — Это даст мне возможность сейчас же на вокзале прочитать ее письмо”.

Я вошел в вокзал, сел за чайный столик и раскрыл письмо.

В нем было следующее. Перевожу с французского:

“Nikolas!

Мой далекий, мой близкий, ты — моя единственная и вечная любовь... Пишу тебе и — сама не знаю, зачем. Что еще можно сказать кроме того, что ты — мой единственный и вечный, что тебя я ждала всю свою жизнь и тебя... сама же отвергла в эту великую и жуткую ночь? А вот почему взяла я перо, и что-то еще хочется сказать тебе, и — не знаю, что еще можно было бы сказать...

Такого, вот именно такого, сурового и нежного, я тайно лелеяла в своих сердечных молитвах, тебя, скорбного и ласкового, отшельника и аскета ждала я столько лет!.. Нужно же было найти тебя где-то в далекой Москве — в какой-то случайной гостинице, найти после стольких лет ожиданий! Милый, милый мой мальчик! Вспоминаю твое мрачное и родное-родное лицо и не знаю, как это могли мы сойтись в своих размышлениях, которые весь свет считает странными и сумасбродными.

Но ты все-таки счастливее меня. Ты слишком живешь музыкой.

Мой бедный, бедный мальчик!.. Чувствую и замечаю, что ты все еще на что-то надеешься, что музыка для тебя все еще какой-то маяк, какой-то якорь спасения... Люблю и благословляю твою наивность... Бедный-бедный, родной-родной ты мой человек! А я вот совсем не живу музыкой! Ты еще не вполне одинок, ты еще на что-то втайне надеешься!.. О, моя бедная, милая наивная душа!

Для тебя музыка — царство какого-то смысла, это — необъятный мир каких-то великих и мировых идей. А вот я не имею таких ощущений! Не умею я так мыслить, и в музыке своей — ничего, ничего не могу найти осмысленного. Музыка для меня и есть музыка. Что я в ней выражаю? И сама не знаю — что. Какие тут идеи, и что я могу вложить от себя в свое исполнение, — ничего, ничего не знаю и даже не представляю, как это вообще могло бы быть!

Nikolas! Музыка для тебя все еще слишком нарядна, слишком красива... Ты все еще слишком любишь ее, слишком упоен ею. А вот я — не люблю никакой музыки: ни чужой, ни своей, и ничего не нахожу в ней существенно прекрасного... Может быть, это от моей глупости. А вернее, оттого, что ничем вообще я не смогла бы заставить себя заинтересоваться. Играешь-играешь и — сама не знаешь, что это такое, для чего это и какой в этом смысл. Счастлив ты, если музыка для тебя еще есть какая-то красота, еще таит в себе какую-то идею!.. Но я — беднее тебя, серее тебя и давно потеряла всякий вкус к музыкальному делу. Что-то такое вздымается в музыке нелепое, даже слепое, что-то нарочито бессмысленное, хаотическое и непонятное, и даже нет охоты во всем этом разбираться! Играешь так, как придется; выдавливаешь из себя выражение — неизвестно чего, а люди слушают, хлопают и платят деньги. Что это такое, для чего это, какой смысл этого, — ты, вероятно, знаешь, а я вот не знаю, не знаю совсем ничего!

Милый, вечный, таинственный друг! Ты умеешь украшать музыку. Твое ощущение — как-то молодо, извивно, ажурно. Ты, я думаю, все еще тайно веришь в нее. И — как сладостна эта вера! Верящий в музыку — сам незаметно для себя ждет всегда чего-то счастливого, бодрого, веселого, верит, что вот-вот откроется дверь в его комнату и войдет кто-то ласковый, любящий, глубокий, великий, войдет и даст счастье, даст счастье навеки.

Но — нет во мне такой веры! Ты готов был даже жениться на мне... О, как люблю я твою глубокую, твою гениальную наивность, каким юным счастьем звучит твой наивный призыв, твоя юношеская мечта о музыке!.. Ты не только философ, но ты еще и поэт. Ты — поэт до мозга костей, до последней кровинки. А я... Я, *Nikolas*, — проза... Я самая обыкновенная проза, и — отпали давно у меня всякие прикрасы жизни, отпала даже самая мысль претендовать на поэзию.

Ты ощутил во мне... Я знаю, знаю, что ты ощутил и, может быть, только не сумел сказать. Ты сквозь мою женскую душу, через мое женское тело ты ощутил что-то большое, огромное, — да, ты это, вероятно, называешь мировым, вселенским... В моем женском теле ты ощутил тело самой вечности, увидел рождающее лоно жизни,

прозрел тайну половых основ мироздания. Но...

Милый, милый мой мальчик! Но это все — музыка! Ты же сам так прекрасно говорил об ущербности музыкального искусства... Помнишь, как ты в минуту нашего полного счастья захотел “принизать” музыку и стал говорить о том, что она не преображает жизнь, а только волнует субъект, оставляя его на том же месте, на той же грязной и грешной земле. Никто так не раскрыл музыкальных откровений, как ты, но — никто так не мог и разоблачить музыкальное искусство, как ты! Помнишь, ты пожертвовал даже Бетховеном, Вагнером и Скрябиным, осудивши их за субъективизм? Что же может еще тогда оставаться в музыке?

Но — ты очень еще любишь музыку. Ты тайно и украдкой от себя слишком еще веришь в нее, и значит, веришь в человеческое счастье... И ты поверил моей музыкальности, поверил музыкальности мира, и — ощутил вместо моего женского тела и моей обыкновенной женской души — прекрасные и музыкальные, но, по твоему же собственному учению, слишком уже музыкальные основы жизни, слишком уже музыкальную сущность половых устремлений бытия.

Вот почему, *Nikolas*, ты хотел вчера жениться на мне... И вот почему колебалась и я... О, ты не знаешь, что переживала я в эти мгновения, когда ты задавал мне свои последние вопросы, а я, я распиналась между пылкой любовью к тебе, страстью к твоей энергичной мужской душе и — полной невозможностью, полной бессмысленностью нашего брака.

Придя домой, оставшись без меня, взглянувши на жизнь беспристрастно, на свою и на мою жизнь, — о, ты, конечно, придешь к тем же самым идеям, что и я, и даже без этого письма оценишь нашу встречу — одинаково со мною.

Кто велик и зорок в счастливых и бесконечных откровениях музыки? Ты, ты, мой ясный, любимый мудрец. Но кто же разблачил нашу музыку, кто сорвал с нее — и так беспощадно! — всякую маску объективности, подлинной истины и самой бесконечности? Ты, ты сорвал эту маску, ты разоблачил метафизически-музыкальный обман! Так можешь ли ты думать иначе, чем я?! Можешь ли ты так верить в музыку, так на нее надеяться, как это хочется твоему исстрадавшемуся сердцу и как это лелеет твоя измученная наивно-доверчивая душа?!

И вот приходится жить без веры... И все живешь, все рассуждаешь, все куда-то ходишь и едешь, что-то делаешь и к чему-то стремишься... Хорошо жить с музыкой! А без музыки? Но мы с тобой, мой бедный друг, — без музыки. Мы слишком с тобой знаем музыку, чтобы считать себя — с музыкой. Мы с тобой, мудрец и отшельник, живем без прикрас... без воображения... Мы с тобой — не этого мира, не этой культуры, в которой действительно много музыки, слишком много музыки. Нас не радует музыка. Иной музыки жаждет наша душа, и — нет ее, нет этой подлинной музыки, а есть пустыня и... понимание!

Ну, что еще сказать тебе на прощание, мой друг, мой учитель, мой жених, сынишка ты мой беззащитный? Люблю тебя — вот мой последний вздох при отъезде отсюда. Люблю тебя ясно-ясно и — не знаю как — ясно... Ну, вот как солнышко ранней весной начинает согревать замерзшую землю — так ясно-ясно, так просто-просто, так удивительно понятно, прозрачно, бездумно... Люблю тебя с твоим одиночеством, с твоим пониманием, люблю тебя после твоего пожара (помнишь?) и с твоей идеей о раздате вещей. Люблю тебя скорбного и милого, покинутого и ясного. Ты — ясный-ясный... Люблю твою беззащитность, твою наивную открытость; бери тебя, как цыпленка, и ты — не окажешь никакого сопротивления!.. Люблю тебя — как любят печальный и ясный закат, эту тихую и светлую задумчивость летнего вечера, эту безмолвную грусть и улыбку прощания.

Ты, наивный, хотел жениться на мне, и я, глупая, еще колебалась. Но вот в чем я не колеблюсь и вот в чем я не наивна и не глупа: обещаю тебе остаться так, как я есть сейчас и никогда ни за кого не выходить замуж и не отдаваться никакому мужчине. Прими эту мою клятву — вместо нашего брака — и — “пойми” ее, как можешь только ты один во всем свете понять. Да, впрочем, разве нужны тут какие-нибудь клятвы? Разве не ясно все тебе и мне? Разве не ясно все до последней, последней капли? Приношу сейчас тебе эту клятву, и — самой смешно! Какая же это клятва, если и без нее такая суровая необходимость, такая жестокая логика самой жизни!

Прощай, прощай, закатный свет, прощай, погибая радость полуденного всеильного солнца! Скоро догорят последние лучи, и мертвая пустота водворится там, где бились два сердца, умевшие так любить, так любить и так понимать!.. Прощай, мой добрый, мой всегдашний и вечный... Мать и невесту твою — не забудь! Скорбный и нежный, сынишка ты мой ненаглядный! Прости!

Е. Д.”

Прочитавши письмо, я бессильно опустил руки с письмом на стол.

“Вот это — так “письмо”! — подумал я. — Не чета моему! И сколько тут наговорила всего... глубокого и самого важного!..”

Не знаю, сколько времени я сидел так с этим письмом за столиком, но сидел, вероятно, порядочно, потому что вдруг я услышал около себя вежливый, но настойчивый голос вокзального официанта, заставивший меня даже слегка вздрогнуть:

— Вы не изволите пользоваться буфетом-с?

Я поспешно сложил письмо и посмотрел на официанта. С ним была дама и двое мужчин — вероятно, пассажиры, ждавшие своего поезда и желавшие “попользоваться буфетом”, а все места за столиками были заняты.

— Пожалуйста, пожалуйста, — залепетал я, быстро поднимаясь со стула. — Пожалуйста! Я — так...

И я вышел из вокзала.

Пошел я — тоже неизвестно куда. Вместо того, чтобы идти к Триумфальным воротам и по Тверской, я завернул куда-то в сторону и в конце концов оказался на Ходынке, пустынной и мрачной Ходынке.

Было довольно холодно и ветрено.

Я ходил и все думал об Елене, об ее удивительном письме, и — мысли беспорядочно сбивались в голове,

выскакивая то в каком-то неожиданно четком и резком виде, то расплываясь и размываясь, как песок, как вода и как шальной и неустойчивый ветер.

Ходил я много, долго ходил. И был уже поздний вечер.

Так же рассеянно (не то уж очень сосредоточенно) и почти бездумно повернул я домой и добрел, наконец, до своей квартиры. Было уже около двенадцати.

В комнате у меня было не топлено.

Войдя в нее, я вспомнил, что не мешало бы чего-нибудь поесть... Сегодня я то спал, то писал письмо Елене, то просто размышлял, и — забыл пообедать. Позавтракавши кое-чем перед отъездом на вокзал и не сообразивши выпить чаю на вокзале после проводов Елены (деньги были), я теперь стал чувствовать некоторый голод, и захотелось горячего чаю.

Пошаривши у себя в шкафу, я нашел там только сырой картофель, да несколько небольших селедок.

“Сварить бы картошку, — мелькнуло у меня в голове, — да скипятить бы чаю!..”

Но — у меня это можно было бы сделать лишь в печке, а топить печку...

“Нет! — подумал я. — Не хочется топить печку!.. Идти сейчас, ночью, в сарай, колоть дрова, нести сюда в квартиру, будить жильцов, растапливать... Нет уж! Лучше завтра поем и попью...”

И я стал ложиться спать.

В комнате было довольно холодно. А так как матраца на койке у меня не было, а были только доски, покрытые старым, залатанным ковром, то от такого ложа в холод становилось еще хуже.

Я разделся и лег, но тотчас же почувствовал, что не смогу заснуть от холода.

Пришлось встать и надеть верхние брюки и носки. Поправил я и подушку, которой, собственно говоря, не было, а было вместо нее старое белье и грудка еще более старого тряпья. Было, я бы сказал, довольно мягко.

Когда я лег в верхних брюках и носках и кроме одеяла укрылся еще своим пальто, — стало сразу же значительно теплее. Я лег на спину, закрыл глаза и стал пытаться заснуть...

Сна не было.

Сна не было очень долго. Да и как можно было уснуть после всего пережитого?

Я лежал-лежал, и думалось, что вот лежу я в гробу, что я уже умер, что гроб мой поставлен куда-то в склеп или в подземелье, что кругом холод и тьма, сырость и смерть...

Об Елене вспоминалось как о чем-то бывшем давно-давно, неизвестно где и когда, как о каком-то старом-старом сне. Да и было ли это когда-нибудь? Не есть ли это пустое мое воображение? Не есть ли это простой метеор на моем черном небе, а я его принял за счастье, за жизнь, за любимую женщину?

Как легко, думалось мне, совсем не существовать! Как легко не быть! Был метеор одно мгновение, и вот — нет его! И уже забылось место, где он только что мелькнул и сверкнул таким негаданным, непрощенным счастливым намеком.

Вспомнился Тютчевский стих:

“Бесследно все, и — так легко не быть!”

Но — неужели она права? Неужели я все еще живу музыкой, живу надеждой на любовь, на осмысленную жизнь? Тогда было бы понятно, что я ей написал в письме...

Неужели она права?

И действительно: что такое музыка? Что такое музыкальное исполнение — хотя бы той же самой Елены Дориак? Вот оно было вчера, а сегодня не осталось от него даже нот, которые остаются от композитора, даже мертвой картины, которую оставляет после себя художник.

Жизнь, говорит, у меня — без музыки...

Эх, милый друг! И у меня жизнь без музыки... Не той музыки жаждет душа... Да, впрочем, теперь даже и не жаждет... Когда возмущаешься жизнью, споришь с нею, ругаешь ее, ненавидишь ее, — тогда еще есть желание жить и есть надежда. Но — уже давно перестал я возмущаться жизнью и давно перестал ее ненавидеть...

Ты права, мудрая женщина! Музыка — пустота, давящая и несносная пустота. Умирать мы будем с Еленой без музыки... Смерть — немзыкальна.

Господи, как легко, как странно легко — совсем не быть! Одиному — как совсем легко не быть! Да и бывшее — было ли когда? Не есть ли все лишь какой-то сон, какая-то греза неизвестного нам существа? Мы — не есть ли только мечта, неосуществившаяся мечта, почти что бред какого-то далекого и бессильного существа? Да и этот метеор Елены — был ли когда-нибудь, или это только музыкальное воображение, о котором она же сама и поучает меня?

Я умру, скоро умру... И не будет в этой грудной клетке биться неугомонное сердце, это наивное, радостно-отзывчивое, доверчивое и горячее сердце. И не услышит ухо чудной игры Дориак, и глаза не увидят роскошной, но увядающей женщины за фортепиано! И не вспомнит никто обо мне, и не узнает никто об этом отшельнике, захотевшем понять и жить пониманием...

Ну, что ж! Я умираю один на своих голых досках, но я — спокоен...

Все бессмысленно, но я — спокоен.

Или, может быть, спокойны вы, а не я, вы, спящие сейчас в натопленной комнате после жареной картошки?

Или...

Доброй ночи, господа!